

A photograph of a brass compass and a flashlight on a wooden surface. The compass is on the left, showing the number '214' and a small loop at the top. The flashlight is on the right, with its lens reflecting light. The background is a green, textured surface.

здесь не ложится снег

Алексей Хромов

Алексей Хромов

здесь не ложится снег

«Автор»

2026

Хромов А.

здесь не ложится снег / А. Хромов — «Автор», 2026

Посёлок Гривцы, юг Кузбасса, три тысячи двести человек. Под ним с 2003 года горит угольный пласт: на горе Тёплой не держится снег, из трещин тянет серой, зимой угорают по двое-трое за сезон, и это считается бытовухой. Тушить не тушат — есть только программа переселения. Осенью 2010-го в посёлок приходят 214 сертификатов на 590 семей. Кто попадёт в списки, решают цифры в блокноте двадцатитрёхлетней Аси Лутониной, техника-геофизика: её замеры определяют, чья улица аварийная, а чья нет. Половина посёлка носит ей варенье. Вторая половина к ноябрю уверена, что она берёт. В ночь на четырнадцатое ноября Ася не возвращается домой. Через двое суток её поднимают со дна свежего провала. Следователь Игнат Богуш приезжает туда, где не запирают дверей, где никогда не воровали и где здороваются все со всеми. Ему будут рады. Его накормят. Ему помогут. И на каждый вопрос ответят так, что через три месяца у него будет признание, приговор — и ни одного имени.

© Хромов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая	5
ТРИДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК	5
Глава вторая	11
ПРОВЕРКА	11
Глава третья	17
ДВЕСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	17
Глава четвёртая	23
ФЕЛЬДШЕР	23
Глава пятая	30
МЫ НЕ ПОДНИМАЛИ	30
Глава шестая	35
БАРАБАН	35
Глава седьмая	42
ХАЛАТ	42
Глава восьмая	49
ГВАРДЕЙСКАЯ	49
Глава девятая	56
ПО ЧЕТВЕРГАМ	56
Конец ознакомительного фрагмента.	61

ЗДЕСЬ НЕ ЛОЖИТСЯ СНЕГ

Глава первая

ТРИДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК

4 марта 2023

Двадцать три километра щебёнки грейдер не проходил с осени, и на семнадцатом Богуш сбавил до тридцати и дальше уже не разгонялся. Снег лежал полосами, между полосами торчал промороженный гравий, и машину вело на каждом таком переходе, коротко, вбок, как будто кто-то толкал её в правое крыло ладонью. Он считал эти толчки. К повороту на Гривцы насчитал сорок один.

Считать он начал в девяносто третьем и с тех пор не переставал, и знал за собой это, и не считал болезнью.

Указатель стоял на старом месте, синий, с белыми буквами, и кто-то замазал его серой краской из баллона — не название, а тот квадратик внизу, где обычно пишут расстояние. Название оставили. Богуш притормозил, посмотрел на серое пятно и поехал дальше, и только через километр понял, что закрашивали не в этом году: краска выгорела и по краям облупилась до синевы.

Дорога пошла вниз, в распадок, и справа открылся разрез.

Он видел разрезы много раз и всё равно каждый раз сначала не понимал масштаба, потому что не с чем было сравнить: ступени уходили вниз кругами, как в стадионе, и на третьей сверху стоял экскаватор, который отсюда казался игрушкой на радиоуправлении, и ковш этой игрушки за один раз брал столько, сколько поместилось бы в кузов трёх КамАЗов. Гул шёл ровный, низкий, без пауз. Не грохот. Ровный.

А за гребнем отвала, в четырёхстах метрах от верхней бровки, стоял посёлок.

Богуш остановился и посидел с работающим двигателем.

Двенадцать лет назад между посёлком и разрезом был лес. Не тайга, а так, березняк с осинкой, но был; он через него ходил, и там лежала бетонная плита, на которой в октябре сидели и пили. Теперь там не было ничего, вообще ничего — плоское поле, срезанное до глины, и по этому полю шла временная дорога, и по дороге ползли БелАЗы, и от них поднималась чёрная пыль, и пыль ложилась на снег в сторону посёлка, потому что ветер здесь всегда с юго-запада.

Он опустил стекло.

Это вышло само, по старой привычке: тогда, в десятом, он опускал стекло на этом самом спуске, потому что знал, что дальше всё равно придётся дышать этим, и лучше начать заранее, малыми дозами, как алкоголик начинает с пива.

В машину вошёл холодный воздух и запах солярки от разреза.

Больше ничего.

Богуш подождал секунд десять. Потянул носом ещё раз, глубоко, до боли в переносице. Солярка, холодное железо, немного гари от чьей-то трубы.

Он поднял стекло и поехал вниз.

В посёлке топили три дома.

Он сосчитал дым на въезде, на Заводской: один над котельной — жидкий, серый, значит, кочегарят углём с просыпью, — и два дальше, в частном секторе. Всё. Над Проходчиков не шло ничего, и над пятиэтажками на Гвардейской тоже, и Богуш не сразу сообразил, что в пятиэтажках нет окон. Рамы вынули. Проёмы стояли чёрные и ровные, как ячейки в решётке,

и в одном на четвёртом этаже трепалась занавеска, и это было единственное движение на всей улице.

Ликвидация населённого пункта — процедура длинная и бумажная. Он читал уведомление в феврале, в областной сводке, в разделе, который никто не читает. Посёлок Гривцы, Прокопьевский муниципальный округ, исключить из учётных данных. Тридцать зарегистрированных жителей, отселение завершить до 1 июля.

Он не знал, зачем едет. То есть знал, но формулировка была такая, что её нельзя было произнести вслух ни следователю на пенсии, ни бывшей жене, ни дочери, которая всё равно не спросила бы. Формулировка была: посмотреть, чем это кончилось.

Он ехал по Заводской на второй, объезжая ямы, и думал, что должен был приехать на день раньше или на месяц позже, потому что сейчас он попадёт ровно в то, что не любит: в чужие сборы, в вынесенную мебель, в людей, которые тебе рады, потому что ты хоть какое-то развлечение.

Потом он увидел людей и понял, что это не сборы.

Они стояли на Проходчиков, в дальнем конце, там, где улица упиралась в бывший огород Шалагиных, и стояли не кучей, а правильным полукругом, метров двенадцать в поперечнике, лицом к одной точке. Спины. Тридцать спин в тёмном. И никто не двигался.

Бoguш поставил машину у ДК и пошёл пешком.

Асфальт под ногами был мягкий. В марте, при минус восемнадцати ночью, асфальт на Проходчиков продавливался под каблуком, как линолеум над тёплым полом, и это он помнил, и всё равно первые шаги сделал осторожно, проверяя, и понял, что проверяет, и пошёл нормально.

Метров за сорок он начал разбирать голоса. Их было мало. Говорили негромко, деловито, короткими фразами, как говорят на работе, когда все знают, что делать.

— Слабину дай.

— Даю.

— Не тyani, зацепится.

Над полукругом торчала рама — обычная тренога из бурового профиля, с ручной лебёдкой, такие ставят над колодцами. Богyш подходил и на ходу считал людей: слева направо получилось двадцать девять, справа налево — тридцать, потому что с краю стояла женщина в тёмном платке, которую он сначала принял за столб ограды.

Тридцать.

Ровно столько, сколько было в уведомлении.

Они слышали его шаги — асфальт отдавал глухо, — и полукруг разомкнулся. Не расступился, а именно разомкнулся: три человека с краю сделали по шагу в сторону, не оборачиваясь, освобождая место, и Богyш вошёл внутрь, и его никто ни о чём не спросил.

В земле была дыра.

Она была почти круглая, метра два с небольшим в поперечнике, и начиналась в полутора шагах от крыльца дома номер девять, и один угол крыльца в неё уже сползал: доски встали веером, и перила ушли вниз под сорок пять градусов. Края дыры были обрезаны чисто, без осыпи — так, как будто грунт не обвалился, а опустился. По периметру на снегу лежала тёмная кайма шириной в ладонь: там снег стоял и снова смёрзся.

Из дыры шёл пар.

Не дым — пар, редкий, как над прорубью, и он поднимался ровно, без завихрений, и над самой дырой воздух дрожал, и дальний край полукруга из-за этого дрожания слегка колебался, как отражение.

— Сколько там? — спросил Богyш.

Мужик у лебёдки обернулся. Лет шестидесяти, в брезентовой куртке поверх телогрейки, без шапки, седая щетина.

— Три семьдесят, — сказал он. — Три семьдесят до дна, я шупом мерил. Он на дне, на боку.

— Газ мерили?

Мужик посмотрел на него внимательно и без всякого удивления.

— Чем.

Это был не вопрос. Богуш кивнул.

— Кто спускался?

— Валерка спускался. Валерка, ты сколько там был?

Из-за треноги отозвался молодой голос:

— Минут пять.

— Пять минут, — повторил мужик Богушу, как будто это был ответ про газ.

Он и был ответ. Богуш знал эту арифметику: пять минут вниз — это триста вдохов, и если бы там было девятьсот частей на миллион, Валерка не отозвался бы сейчас из-за треноги. Значит, меньше. Значит, яма не свежая — суточная, может, двухсуточная, сообщение с горящим горизонтом уже подзаплыло. Он поймал себя на том, что уже посчитал, и остановился, потому что считать здесь было не для чего и не для кого.

Трос пошёл. Лебёдка щёлкала храповиком, каждый щелчок отдавался в дыре, и из дыры на каждый щелчок приходил ответ.

Богуш услышал это на третьем или четвёртом обороте. Щелчок — и через какое-то время, короткое, но различимое, снизу приходил такой же щелчок, только ниже тоном и мягче, как будто ударили не по железу, а по железу через тряпку.

Он посмотрел на мужика у лебёдки. Мужик крутил.

— Эх? — спросил Богуш.

— Да оно тут всегда, — сказал мужик и не поднял глаз.

Он крутил ровно, по полтора оборота, останавливаясь на каждом, и Богуш стоял и слушал, как внизу кто-то повторяет за ними с опозданием и на тон ниже, и никто из тридцати не повернул головы.

Его подняли в двадцать минут двенадцатого. Богуш посмотрел на часы и запомнил, хотя запоминать было незачем: он здесь никто, протокол будет писать районный дознаватель, который приедет к четырём, если вообще приедет по такой дороге.

Сначала над краем показалась петля, потом рука в рукаве без варежки — белая, с тёмными ногтями, — потом плечо, и двое подхватили и вытянули тело на снег, аккуратно, за куртку и за ремень, и положили на спину.

Птахин лежал в тёплых домашних штанах, в свитере и в галошах на босу ногу.

Богуш узнал его сразу и удивился этому, потому что двенадцать лет — срок, и потому что видел он его последний раз живым, говорящим, в кабинете с сейфом и с графином. Лицо изменилось меньше, чем он ожидал. Оно стало суше и как-то проще. Крови не было. На левом виске и вдоль скулы шла содранная полоса, неглубокая, и грязь в ней уже подсохла.

Богуш присел на корточки. Никто ему не сказал не трогать; никто вообще ничего не сказал.

Он не притронулся к телу. Он просто подержал раскрытую ладонь в двадцати сантиметрах над свитером, в той позиции, в какой держат руку над плитой, проверяя, выключена ли.

От свитера шло тепло.

— Он тёплый, — сказал Богуш.

— Так там же тепло, — отозвалась женщина из полукруга — та, в платке, с краю. Голос был обыкновенный, слегка удивлённый вопросом. — Там внизу как в бане. Он бы и не замёрз, Игнат Петрович.

Богуш медленно поднял голову.

Он не называл здесь своего имени. Он никого здесь не встретил, пока шёл от машины. Он посмотрел на женщину, и женщина посмотрела на него в ответ спокойно и доброжелательно, и он понял, что это Тамара из «Ласточки», постаревшая на двенадцать лет, и что она узнала его, и что для неё в этом нет ничего особенного, потому что здесь все всех узнают.

— Здравствуйте, Тамара, — сказал он.

— Здравствуйте, — сказала она.

И всё. Никто не спросил, зачем он приехал. Это было первое по-настоящему неправильное за сегодня, и он записал это себе отдельно, в ту графу, где держат вещи, не имеющие объяснения, и которую нельзя закрыть, пока не объяснишь.

— Кто нашёл? — спросил он у мужика с лебёдкой.

— Да все. — Мужик сматывал трос через локоть. — Собрались, а он вон.

— Когда собрались?

— Утром.

— Во сколько?

Мужик подумал.

— Как рассвело.

— А почему собрались?

Мужик посмотрел на него, и в этом взгляде первый раз за всё время появилось что-то — не подозрение, не раздражение, а лёгкая неловкость за собеседника, который задаёт вопрос, не имеющий смысла.

— Ну а как, — сказал он. — Провал же.

Они стояли ещё час, пока не приехала машина с разреза — не за телом, а потому что у разреза была рация и дизель, и через рацию наконец вызвали район.

Богуш отошёл к крыльцу и осмотрел то, что мог осмотреть, не трогая: след от галош на снегу шёл от двери к яме тремя шагами, четвёртого не было. Дверь была прикрыта, но не заперта. На перилах, на том куске, что ещё держался горизонтально, лежала ровным слоем ночная изморозь — нетронутая. Значит, он не держался за перила. Значит, вышел и пошёл.

За спиной разговаривали.

— Он же всю жизнь тут, — говорил женский голос. — Он же за всех стоял. Он один и остался, кто за нас стоял. Сколько он в область ездил, сколько он там...

— Ездил, — сказал другой голос, мужской, старый.

— Ездил! Ты вот ездил?

— Я не ездил.

— Ну так и молчи.

Пауза.

— Он последнюю зиму не топил, — сказал тот же старый голос. — Ты видела, как он жил? Он же не топил. У него в кухне вода в ведре стояла подо льдом.

— Не топил, потому что жалел.

— Кого жалел?

— Себя жалел, — сказала женщина, и это прозвучало не как ответ, а как способ закончить, и Богуш, не оборачиваясь, услышал, как разговор сложился и погас, будто прикрыли заслонку.

Через полминуты женщина заговорила снова, громче и увереннее, обращаясь уже ко всему полукругу:

— Это всё разрез. Они рвут, а у нас садится. Они с той стороны на двести метров подошли, у Гуковых баня ушла, у Шалагиных сарай ушёл, а теперь вот. Это же не земля садится, это они трясут.

— Трясут, — согласился кто-то.

— Приехали, всё разворотили и уедут, а нам тут.

— Так и нам уезжать.

— Нам уезжать, — сказала женщина, — а им ехать некуда. Они ж дома.

Богущ стоял к ним спиной и смотрел на подсохшую грязь в ссадине на виске у мёртвого и думал, что за час не услышал ни одной фамилии. Ни одной. Тридцать человек простояли час над телом, обсудили разрез, область, баню Гуковых и сарай Шалагиных — и назвали дом, и назвали баню, и не назвали ни одного живого человека по имени.

Он обернулся.

— А кто последний его видел?

Полукруг посмотрел на него.

Они смотрели ровно, с вежливым вниманием, тридцать лиц, обмороженных, немолодых, знакомых ему через одно, и никто не отвёл глаза, и никто не ответил.

Пауза была секунды четыре. Богущ посчитал и её.

— Да кто ж его знает, — сказала наконец Тамара, и все с облегчением зашевелились, и полукруг распался, и кто-то пошёл за брезентом, и стало слышно, как на разрезе сменился тон гула: экскаватор перешёл ниже.

Машина с разреза увезла тело в шесть. Богущ подписал объяснение у молодого районного дознавателя, который приехал в начале пятого, замёрз, торопился и был благодарен, что кто-то на месте оказался с корочкой, пусть и недействующей. Дознаватель записал «провал грунта», спросил, есть ли основания, Богущ сказал, что оснований нет, и это была правда — ровно в том объёме, в каком это слово вообще что-нибудь значит.

— А чего он ночью-то на улицу вышел, по-вашему? — спросил дознаватель, уже застёгиваясь.

— В галошах на босу ногу, — сказал Богущ.

— Ну да.

— Значит, ненадолго. Значит, к чему-то близкому.

— К чему тут близкому? — Дознаватель обвёл рукой улицу: чёрные окна, снег, три дыма на весь посёлок.

Богущ не ответил, потому что ответ был: к яме. Дом стоял вторым от угла, до бывшей конторы четыреста метров, до колонки двести, до туалета во дворе пятнадцать, и единственное, что находилось от крыльца в трёх шагах, — это то, что его в конце концов в себя и приняло. Он вышел из тёплого дома в галошах на босу ногу и сделал три шага к яме, которой утром накануне ещё не было.

Он этого вслух не сказал. Дознаватель уехал.

Стемнело быстро.

Богущ дошёл до машины и не сел в неё. Он стоял у ДК, у гипсового горняка с отбитой рукой, и смотрел на посёлок, и в посёлке горели три окна.

Он попробовал понять, что не так.

Это была старая, отработанная процедура, и она никогда его не подводила: встать, замолчать и ждать, пока несоответствие само выдавится наверх. Обычно уходило минуты две. Он стоял уже шесть.

Пахло углём из котельной. Гудел разрез — теперь громче, потому что ночью звук ложится в распадок. Где-то капало с крыши: днём было плюс, и сейчас, на морозе, капель ещё не встала. Тёмные пятна на склоне Тёплой, которые он помнил отдельными кляксами, теперь слились в одно, и вся южная сторона горы стояла чёрная и голая, без снега, до самого верха.

Всё это было на месте. Всё это он узнавал.

Не хватало чего-то, что должно было быть с самого начала, с первой минуты, ещё на въезде.

И тут он понял, и от того, как просто это оказалось, у него на секунду сел голос, хотя говорить было не с кем.

Собаки.

Он проехал двадцать три километра, вышел из машины, прошёл двести метров по улице частного сектора, простоял час на чужом дворе, у чужого крыльца, среди тридцати человек, и его ни разу никто не облаял.

В Гривцах была стая. Голов сорок, у котельной, полудикая, с подранными боками, с вожаком, которого называли Прокурором. Он их помнил, потому что осенью десятого они три ночи были так, что он не мог спать в вагончике, и потому что на четвёртую ночь они замолчали, и он тогда обрадовался этому и уснул.

Он медленно повернулся вокруг себя.

Ни будки. Ни цепи у ворот. Ни мисок. Ни следа на снегу, кроме валенок и его собственных ботинок. Ни звука, кроме разреза и капли.

В посёлке, где топят три дома и живут тридцать человек, — ни одной собаки.

Богуш стоял и слушал изо всех сил, так, как слушают в темноте, когда уже понимают, что услышат, и ждут только подтверждения. Разрез. Капель. Где-то далеко, за Гривкой, треснула и пошла вниз сосна — сухо, долго, с шумом, как рвут брезент, — и грохнула, и распадок отдал звук с опозданием, ниже тоном.

А потом он увидел, что стоит не один.

Метрах в тридцати, у угла ДК, где сходились две дорожки, стояла женщина. Он не слышал, как она подошла, и не знал, сколько она там пробыла. Она была в тёмной куртке без формы, простоволосая, и руки держала в карманах, и смотрела не на него, а на дом номер девять, на ту сторону улицы, где под фонарём, которого не было — фонарь не горел, — чернела в снегу правильная круглая дыра.

Богуш сделал к ней шаг.

Женщина не обернулась и не ушла. Она сказала, негромко, в темноту перед собой, и голос был ровный, будто продолжала фразу, начатую до его приезда:

— Вас тут долго ждали.

Глава вторая

ПРОВЕРКА

12–14 сентября 2010

Запах взял его на въезде в распадок, в двенадцать сорок дня двенадцатого сентября, и держал потом двое суток без перерыва.

Сначала было похоже на серные спички — на ту секунду, когда головка уже вспыхнула, а дерево ещё не занялось. Он подумал: жгут что-то. Потом машина спустилась ниже, и к спичкам добавилось второе, и вот второе было хуже, потому что оно было не химическое. Оно было органическое. Так пахнет шерсть, поднесённая к электроплитке, — не горящая, а только начавшая. Так пахнет, если в парикмахерской на щипцы намотать волосы.

Богуш закрыл окно. Через минуту понял, что в машине оно уже есть, что оно вошло вместе с ним и село на обшивку. Открыл обратно.

К ДК он подъехал с мокрой спиной и с металлическим вкусом во рту, как после гальванизации.

Его встречала участковая — она стояла у крыльца, возле гипсового горняка с отбитой рукой, в форменной куртке, руки в карманах, и ждала, сколько надо, не переминаясь. Лет под тридцать. Короткая стрижка, скуластая, обветренная до красноты на скулах.

— Бердыш, — сказала она. — Оксана Николаевна. Мне из района звонили.

— Богуш. Игнат Петрович. — Он вылез, и колени отозвались после ста двадцати километров. — Извините, я сейчас.

Он отошёл за угол ДК, к кустам, и его вырвало — коротко, дважды, одной кофейной горечью, потому что с утра он ничего не ел. Постоял, упираясь ладонью в холодную штукатурку. Штукатурка была шершавая и в мелких дырочках, и он почему-то стал считать дырочки под ладонью, и это помогло.

Когда он вернулся, Бердыш стояла на том же месте. Ни лишнего сочувствия в лице, ни любопытства. Абсолютно ровное лицо.

— С непривычки, — сказала она. — Пройдёт.

— Это всегда так?

— Как?

Богуш посмотрел на неё. Она смотрела в ответ, и он понял, что вопрос дошёл до неё не полностью — что она честно не знает, о чём он.

— Запах, — сказал он.

— А, — сказала Бердыш. — Ну, с гари тянет, когда ветер оттуда. Сегодня оттуда.

— А когда не оттуда?

Она подумала. Действительно подумала, секунды две.

— Так же, — сказала она наконец и пошла вперёд, и он двинулся за ней.

Его поселили в ДК, в методическом кабинете на втором этаже: раскладушка, синее байковое одеяло, графин, шкаф с папками «Сценарии. Новый год», «Сценарии. 9 Мая», кипяtilьник в розетке и портрет женщины в кокошнике над шкафом — не портрет, а афиша, выгоревшая до желтизны.

Из окна был виден весь посёлок, потому что ДК стоял на пригорке.

Четыре улицы. Он их сосчитал, хотя это было написано в справке. Две этажные линии — двухэтажные брусовые с общими сенями, это Проходчиков, — три панельные коробки на Гвардейской, частный сектор, котельная, гараж, недостроенная девятиэтажка на Заводской,

голая, как рёбра. За огородами начинался лес. За лесом, километрах в двух, поднималась гора без вершины — плоская, срезанная, с тёмным южным склоном.

Богуш открыл форточку и тут же закрыл.

Он сел на раскладушку, достал папку и стал читать в третий раз.

Ковригин Пётр Ильич, 1942 года рождения, пенсионер, вдовец, проживал: Садовая, 14. Девятого августа ушёл из дома около семи вечера, сказал соседке, что пойдёт «глянуть на пасеку», пасеки у него не было двенадцать лет. Не вернулся. Заявление подано десятого в 16:20 сыном, приехавшим из Киселёвска. Обнаружен одиннадцатого в 11:40 в провале грунта за огородами по улице Садовая, в двухстах десяти метрах от последнего дома. Глубина провала пять целых одна десятая метра. Диаметр по устью — два и три.

Заключение эксперта: закрытый перелом обеих костей левой голени в средней трети; ссадины обеих кистей, ссадины предплечий; карбоксигемоглобин в крови — сорок четыре процента.

Богуш посидел с этой цифрой.

Сорок четыре процента — это не мгновенно. Сорок четыре — это когда человек дышит долго. При такой концентрации, какая бывает у дна свежего провала, чтобы набрать сорок четыре, нужно от получаса. Это если лежать тихо. А он не лежал тихо: ссадины на кистях и на предплечьях — это он лез.

Он перечитал ещё раз, ища, не написал ли эксперт чего-нибудь о времени. Эксперт не написал. Эксперту не задали такого вопроса. Вопрос был поставлен так: «имеются ли признаки насильственной смерти», и эксперт ответил, что не имеется, и был совершенно прав.

Богуш закрыл папку и пошёл смотреть яму.

Шли пешком, потому что через огороды. Бердыш вела, не оборачиваясь, шагала ровно и быстро, и он два раза едва не остался позади.

За последним домом кончались грядки и начиналось поле в бурьяне, а дальше, метрах в семидесяти, стояли сосны — зелёные, нормальные сосны, и Богуш не сразу сообразил, что среди них четыре или пять лежат. Не сломанные, а именно лежащие: целиком, с корневым комом, вывернутым из земли, как вырванный зуб с корнем.

— Ветром? — спросил он.

— Сами.

— В смысле?

— Корни прогорают, — сказала Бердыш. — Он стоит зелёный, а под ним уже нет ничего. Потом падает. Обычно ночью.

Она сказала это тем же тоном, каким говорят «обычно по четвергам привозят хлеб».

Провал был обнесён двумя рядами колючки на арматурных штырях, и на штыре висела фанерка с надписью «ОПАСНО», выполненной аккуратно, от руки, белой краской по синему, — школьным почерком, с тщательными нажимами.

Богуш подошёл к краю и посмотрел вниз.

Стенки были ровные, суглинок, и на глубине метра полтора суглинок менялся на что-то тёмно-серое. На дне лежал мусор: доска, полбаллона, пластиковая бутылка. Из ямы шло тепло — заметное, как от неостывшей печки, — и вместе с теплом поднималось то самое, серное, и Богуш отступил на шаг, потому что горло перехватило.

— Не стойте над ней, — сказала Бердыш сзади. — Сбоку стойте.

— Здесь всегда так тепло?

— Этот старый. Этот уже холодный почти. — Она носком сапога подтолкнула комок глины, и комок ушёл вниз, и снизу пришёл звук удара, и через какой-то очень короткий промежуток пришёл второй звук, тише и ниже.

Богуш посмотрел на неё. Она смотрела в яму.

— Двойное, — сказал он.

— Ага, — сказала Бердыш.

Он подождал. Она больше ничего не добавила, и в этом не было ни игры, ни утаивания. Просто вопрос был исчерпан словом «ага».

— Он мог оттуда кричать? — спросил Богуш.

— Мог.

— Двести десять метров до крайнего дома.

— Двести десять, — согласилась она.

— Ночью, в августе, окна открыты.

Бердыш подняла голову и посмотрела на него, и он первый раз увидел на её лице что-то, кроме ровности: короткое, на четверть секунды, движение — как будто она собиралась сказать одно, а потом внутри переложила.

— Так он же за огородами, — сказала она. — За огородами не слышно.

Он опросил одиннадцать человек за полтора дня.

Никто не отказался. Все впускали в дом, все сажали за стол, все ставили чай, и каждая вторая доставала из холодильника банку, и одна старуха успела нажарить оладий, пока он читал ей её же собственные показания. В сенях у него дважды спросили, не холодно ли ему спать в ДК, и оба раза предложили одеяло. На улице с ним здоровались абсолютно все, включая подростков.

За тридцать лет службы он не видел такого посёлка. Дома не запирали. Велосипеды стояли у заборов, не пристёгнутые. На колонке висела эмалированная кружка на верёвочке — общая кружка, одна на всех, и её никто не унёс.

И все одиннадцать сказали примерно одно и то же.

— Так он выпимши был, — говорила соседка, Шалагина Нина Егоровна, семьдесят три года, разливая чай. — Пётр Ильич-то. Он после Клавы, как схоронил, так и пошло. Не то чтоб пьяница, нет, вы не подумайте. Хороший был мужик. Работающий. Он мне забор поправил, и ничего не взял, я ему бутылку — не взял.

— Он был пьяный девятого августа?

— Да кто ж его знает. Наверно.

— Вы его видели девятого?

— Не видела. Но он же всегда. — Нина Егоровна поставила перед ним варенье. — Кушайте. Крыжовенное.

— Нина Егоровна, а туда — за огороды, на гарь, — часто ходят?

— Да кто туда ходит! — сказала она с искренним возмущением. — Туда никто не ходит. Там же опасно, там таблички. Дети и то не ходят, им говорено.

— А Пётр Ильич?

— Так он пошёл же.

Она сказала это без всякой заминки, как будто это не противоречило предыдущему, и потянулась долить ему чаю.

То же самое, с вариациями, он услышал в остальных десяти домах. Пётр Ильич был хороший мужик. Пётр Ильич после смерти жены выпивал. Туда никто не ходит. Пётр Ильич пошёл. Там таблички. Он сам виноват, царство ему небесное.

Сын, Ковригин Валерий Петрович, сорок один год, приехавший на два дня из Киселёвска и жёлтый от бессонницы, сказал то же самое, только злее:

— А я ему говорил. Я ему год говорил: пап, поехали ко мне. Он: я тут родился. Ну и вот. — Он мял в пальцах сигарету, не закуривая. — Тут все так. Тут все сидят и ждут, пока под ними провалится, и никто не едет. Дай им квартиру в Кемерове — они и то не поедут.

— Почему?

— А хрен их знает. — Он всё-таки закурил, и в комнате стало легче, потому что табак перебивал то, другое. — Тут, знаете, как. Тут все друг друга шестьдесят лет знают. Он мне говорил: я там, в Киселёвске, кто? Никто. А тут я Ковригин.

Богуш записал последнюю фразу дословно, сам не зная зачем.

— К отцу были у кого-нибудь претензии?

Ковригин посмотрел на него и как-то разом обмяк.

— Да какие претензии. Кому он нужен. — Он отвёл глаза к окну. — Тут людям не до того сейчас.

— А до чего?

— Списки, — сказал Ковригин и сплюнул.

Это было первое слово за полтора дня, сказанное с ненавистью, и Богуш отметил его, но в справку не понёс, потому что к предмету проверки это отношения не имело.

Ночь с тринадцатого на четырнадцатое он не спал.

Дело было даже не в запахе, хотя запах к вечеру усилился: ветер сел, и над распадом встал слой — он видел его из окна, плотный, сизый, ровно на высоте второго этажа, и в этом слое размывались фонари. Дело было в голове. Она болела не как от давления и не как от усталости, а тупо и равномерно, обручем над бровями, и болела с полудня двенадцатого, и таблетки её не брали.

Он лежал на раскладушке, слушал, как скрипит под ним брезент, и смотрел на потолок, где отсвечивал фонарь.

Фонарь мигал.

Не мигал — пульсировал: свет становился чуть слабее, потом возвращался, и промежуток между просадками был всегда одинаковый. Богуш начал считать «двадцать один, двадцать два» и сбился, начал заново и досчитал: одиннадцать. Просадка — одиннадцать секунд — просадка.

Он встал, подошёл к окну. Пульсировал не один фонарь. Пульсировала вся улица, все шесть фонарей на Заводской, синхронно, и окна в тех домах, где ещё горел свет, тоже — он видел, как в чужой кухне на секунду темнеет клеёнка.

Одиннадцать секунд.

Он постоял у окна минут пять, потом лёг, потом снова встал и записал в блокнот: «свет, 11 сек» — и внизу, машинально: «спросить у энергетика». Спросить он потом забыл, а листок остался.

Около трёх он всё-таки задремал и почти сразу проснулся от грохота.

Это было длинно и по-своему красиво: сначала сухой треск, будто рвут мокрую ткань, потом пауза в полторы секунды, потом удар, от которого в графине качнулась вода. И через секунду — тот же удар ещё раз, тише и ниже тоном, как будто лес отвечал сам себе.

Сосна, подумал Богуш. Просто сосна.

Он лёг на бок и до рассвета считал скрипы брезента.

Утро четырнадцатого сентября было ясное и холодное, первое по-настоящему осеннее.

Он вышел на крыльцо ДК в восьмом часу и увидел, что посёлок идёт.

Шли по Заводской, потом сворачивали на дорогу к реке. Шли семьями, шли по двое и по трое, шли в тёмном, несли цветы — гладиолусы, астры, георгины из палисадников, замотанные в газету. Женщины в платках. Мужчины в пиджаках поверх свитеров. Шли молча — то есть разговаривали, но вполголоса, и от этого получалось общее гудение, ровное, без всплесков.

Богуш посмотрел на часы, потом на календарь в телефоне, и тогда только сообразил.

Он спустился и пошёл со всеми, держась сзади.

Идти было минут двадцать: через мост над Гривкой, где над водой стоял пар полосой, потом вверх по накатанной колее, и здесь запах усиливался с каждым шагом, и Богуш дышал ртом. По сторонам колеи трава была зелёная. Четырнадцатого сентября, после трёх ночных заморозков, — зелёная и мягкая, как в июне.

Часовня стояла на открытом месте: не часовня, а бетонный куб с крестом наверху, побелённый, и перед ним на постаменте — доска чёрного мрамора.

Народ встал полукругом. Не потому, что кто-то расставил, а просто встали — ровно, метрах в восьми от доски, оставив перед ней пустое место, и Богуш, подошедший последним, оказался с краю и хорошо видел всех.

Он насчитал около двухсот человек. Потом сбился и считать перестал.

Приехал из Новокузнецка священник — молодой, в чёрном, с рыжеватой бородкой, которая ему не шла, — нет, не приехал, вспомнил Богуш, он здешний, ему говорили, приход в бывшей столовой. Отец Вадим. Он служил коротко, минут двенадцать, и голос у него был хороший, но неуверенный на длинных фразах.

Потом запели дети.

Их было девять или десять, девочки в белых блузках под куртками, и с ними женщина лет шестидесяти с магнитофоном — не с магнитофоном, а с катушечником, большим, в деревянном корпусе, стоявшим прямо на земле и запитанным от автомобильного аккумулятора. Она нажала клавишу, лента пошла, и из динамика вместе с музыкой пошёл низкий ровный гул, и дети запели поверх гула.

Пели они хорошо. Богуш этого не ожидал и почувствовал, как у него дёрнулось в горле, и разозлился на себя.

Женщины плакали. Мужчины стояли, глядя в землю. Кто-то из стариков крестился не в такт.

Когда кончилось, люди пошли к доске — по одному и по двое, клали цветы, трогали рукой мрамор, отходили. Очередь двигалась медленно и сама собой, без распорядителя.

Богуш подошёл последним, когда у доски уже никого не было.

Фамилий на доске было девять. Он прочитал их сверху вниз, как читал всё: медленно, целиком, с инициалами и датами.

ГУК А. В. 1979–1998.

КАЗАНЦЕВ И. И. 1961–1998.

ЛА ЦОВ В. П. 1955–1998.

Он остановился.

Между «ЛА» и «ЦОВ» был пробел шириной ровно в одну букву, и в этом пробеле мрамор был другой. Не выбитая буква, залитая чем-то, а именно счищенная: поверхность здесь была матовая, в мелких белых царапинах, идущих в одну сторону, и если наклониться, царапины ловили свет.

Богуш наклонился.

Царапины были старые — края успели заплывть грязью и дать зеленоватый налёт, — и их было много, слоями, в разных направлениях, как будто скребли долго и не в один приём. Вокруг этого места мрамор был отполирован до глубокой черноты, как и вся доска.

Он выпрямился и оглянулся.

Полукруг уже расходился. Люди шли обратно к колее, разговаривая громче, чем по дороге сюда, — так всегда бывает после, — и у кого-то смеялся ребёнок, и кто-то обсуждал, что картошку в этом году не выкопать по погоде.

Бердыш стояла метрах в пятнадцати, руки в карманах, и смотрела на него.

Богуш поднял руку и показал на доску.

Она подошла. Встала рядом, посмотрела туда, куда он показывал, — и он видел, что она смотрит именно на пробел, а не куда-то мимо.

— Буква, — сказал Богуш.

— Отпала, — сказала Бердыш.

— Она не отпала. Её счистили. Вот, посмотрите, здесь царапины.

Бердыш посмотрела на царапины. Потом на него.

— Отпала, — повторила она. — Тут всегда так было.

Ей было двадцать девять. Доску поставили в девяносто девятом. Ей было восемнадцать, и она жила здесь, и «всегда» для неё означало одиннадцать лет, из которых она помнила каждый.

Богуш открыл рот, чтобы сказать это вслух, и не сказал, потому что за её плечом, метрах в сорока, у самого угла часовни, стоял человек.

Один. Все уже ушли к колее, а он стоял. Немолодой, в чёрной куртке, без цветов в руках, и стоял он не перед доской, а сбоку от неё, лицом к склону, и ничего не делал. Не крестился, не плакал, не курил. Просто стоял, как стоят, когда ждут кого-то, кто точно придёт.

— Это кто?

Бердыш даже не обернулась.

— Роман Ильич, — сказала она. — Глава наш.

— Он всегда так?

— Каждый год, — сказала Бердыш. — Минут сорок. Потом уезжает.

И пошла вниз, к колее.

Отказной он подписал вечером четырнадцатого, в методкабинете, под афишей с женщиной в кокошнике, при свете настольной лампы, которая просаживалась каждые одиннадцать секунд.

Формулировка вышла ровная и короткая. Смерть Ковригина Петра Ильича наступила в результате отравления окисью углерода при падении в провал грунта на участке подземного горения; признаков насильственной смерти не установлено; в возбуждении уголовного дела отказать.

Всё в этом документе было правдой.

Он поставил дату, расписался, отложил ручку и потёр лицо ладонями. Голова прошла — он заметил это только сейчас, задним числом. Обруч над бровями разжался где-то во второй половине дня, и он не мог сказать, когда именно.

Богуш встал, включил кипяtilьник, достал из сумки хлеб и банку кильки, которую вёз из Прокопьевска, и съел всё это стоя, у окна, за четыре минуты.

Потом он посмотрел на пустую банку и понял, что ел не морщась.

Он подошёл к форточке и открыл её нарочно, широко. В комнату вошёл холодный воздух с угольной гарью из котельной, с рекой, с чем-то ещё, слабым и сернистым, и это слабое и сернистое было теперь просто фоном, как гул подстанции: оно было там, оно никуда не делось, и оно больше не мешало.

Двое суток, подумал Богуш. Быстро.

Он не стал думать дальше, потому что назавтра надо было выезжать в семь, а дорога плохая. Он лёг, натянул байковое одеяло до подбородка и уснул почти сразу.

Уснул он на мысли, которая утром не вспомнилась и вернулась к нему только через двенадцать лет и шесть месяцев:

что он так и не спросил, какая там была буква.

Глава третья

ДВЕСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

16 сентября 2010.

Зал ДК «Горняк» вмещал четыреста двадцать человек, и Ася знала это точно, потому что в первый свой приезд, в июне, от нечего делать сосчитала ряды и умножила. Сегодня в зале было человек шестьсот.

Сидели на откидных, сидели в проходах на принесённых из фойе банкетках, стояли вдоль стен под лепниной, стояли в дверях. Кто-то привёл детей, потому что не с кем оставить, и дети ползали под креслами первого ряда, и на них никто не шикал.

Пахло пылью, мастикой для полов и мокрой одеждой — с обеда шёл дождь.

Ася стояла на сцене сбоку от трибуны, рядом с фанерным щитом, к которому канцелярскими кнопками была приколота её схема — ватман А0, сетка реперных скважин, изотермы, красная линия границы, — и ждала, когда Роман Ильич закончит вступление, и чувствовала, как под мышками расплзается мокрое.

Она надела белую блузку. Утром это казалось правильным: официальное мероприятие, ты представляешь институт, ты специалист. Сейчас, со сцены, глядя на шестьсот человек в куртках и свитерах, она понимала, что блузка — ошибка, и что все на неё смотрят, и что она стоит здесь как на смотринах, и что снять ничего уже нельзя.

Она переложила папку из левой руки в правую и обратно.

— ...поэтому я сразу, чтоб потом не было, — говорил Птахин в микрофон, не глядя в зал, а глядя куда-то в верхний угол, на лепнину. — Цифра пришла из области двенадцатого числа. Цифра окончательная. Двести четырнадцать.

Зал не зашумел.

Ася ждала шума — она к нему готовилась, она даже репетировала, что будет делать, когда зашумят, — а зала как будто и не стало. Шестьсот человек одновременно перестали двигаться. Она увидела это очень отчётливо со сцены: как будто по воде прошло и встало.

Потом сзади, от дверей, кто-то сказал негромко, без выражения:

— Двести четырнадцать.

И только тогда пошёл гул.

— Тихо, — сказал Птахин в микрофон. — Тихо. Я сказал — цифра окончательная, а список — предварительный. Список седьмой редакции, он у Нины Афанасьевны на руках, кто хочет — подходит и смотрит. Это не последняя редакция.

Гул изменил тон. Ася не умела это описать, но услышала: тон стал ниже и как-то ровнее, будто в зале одновременно выдохнули.

— Это не последняя редакция, — повторил Птахин. — Работаем дальше. Теперь по методике. Анастасия Юрьевна из института, она вам всё объяснит по существу, слушайте внимательно, вопросы потом.

Он отошёл от трибуны, и на секунду, проходя мимо, посмотрел на неё. Не в глаза — куда-то на воротник блузки, — и сказал негромко, мимо микрофона:

— Только по существу.

Микрофон был выше, чем нужно, и стойка не откручивалась, и Ася минут двадцать говорила, задрвав подбородок.

— Значит, смотрите. — Она показала указкой на ватман, и указка дрожала, и она прижала её к щиту, чтобы не дрожала. — Вот это — сетка реперных скважин. Их сорок шесть. Глубина два с половиной метра. Каждые десять дней я обхожу все сорок шесть и снимаю три

параметра. Первое — температура грунта на забое скважины. Второе — состав подпочвенного воздуха, это окись углерода и углекислый. Третье — деформации, это по маркам на фундаментах, на самом деле это самое долгое.

Она перевела дух. В зале было тихо, и тишина была неправильная — слишком плотная для шестисот человек.

— Теперь критерий. Дом относится к зоне повышенной опасности, если выполняется хотя бы одно из трёх. Температура на глубине два с половиной выше сорока пяти. Или окись углерода в подпочвенном воздухе выше ноль-ноль-двадцати четырёх процента. Или крен и раскрытие трещин выше нормативных, там таблица. — Она снова ткнула указкой. — Хотя бы одно из трёх. Не все три. Одно.

Из середины зала поднялась рука.

— Вопросы потом, — сказала Ася и услышала, что сказала это голосом Птахина, и ей стало неприятно. — Извините. Сейчас, я почти закончила. Вот эта красная линия — это граница по данным на первое сентября. Всё, что внутри, — зона. Всё, что снаружи, — не зона. Линия не моя. Линия — это изотерма, она рисуется по замерам, я её не провожу рукой, её строит программа по точкам.

Она сказала это и услышала, как оно прозвучало.

Оно прозвучало как: «я ни при чём».

— Я могу показать любому желающему журнал замеров, — быстро добавила она. — Там все цифры, за все декады, с июня. Я ничего не прячу. И скважины стоят открыто, можно подойти и посмотреть, они пронумерованы.

Кто-то в шестом ряду хмыкнул.

Красная линия на ватмане шла с северо-востока, через бывший огород Шалагиных, потом выходила на улицу Проходчиков и дальше шла по ней — не поперёк, а вдоль, по оси проезжей части, метров триста, до самого поворота.

Чётные дома оставались внутри. Нечётные — снаружи.

Ася знала об этом с двадцать восьмого августа, с того дня, когда программа выдала эту изотерму, и она трижды пересчитывала, и один раз даже перебила скважину номер девятнадцать — пробурила рядом новую, за свои, договорившись с буровиками с разреза за две бутылки, — и новая дала то же самое, с разницей в полтора градуса.

Она молчала об этом две недели, потому что не её дело объявлять. И сейчас стояла и смотрела, как шестьсот человек находят на ватмане свой дом.

Вопросы начались не сразу и не от тех, от кого она ждала.

Первой встала женщина лет шестидесяти пяти, в вязаной кофте, из первого ряда — та, что весь доклад кивала.

— Доченька, — сказала она, и по залу прошло что-то тёплое, потому что все её знали, — ты не волнуйся, ты хорошо говоришь. Ты покушала сегодня?

В зале засмеялись, и Ася тоже засмеялась, и напряжение отпустило ей плечи.

— Спасибо, я покушала.

— Ты приходи, я пирог пеку в субботу. Садовая, восемь, зелёные ворота.

— Спасибо большое.

— Ты не думай, мы всё понимаем. Ты ж не виновата. — Женщина обернулась к залу, ища поддержки, и зал подтверждающе загудел. — Она ж не виновата, люди. Она приборы носит, и всё. Это ж не она решает.

— Не она, — сказал кто-то.

— Она приборы носит, — сказала женщина ещё раз, довольная формулировкой, и села.

Вторым встал мужчина с Гвардейской — Ася узнала его, он однажды пускал её на чердак к марке. Крупный, с красным лицом, в свитере с оленями.

— У меня вопрос по существу. — Он сказал «по существу» с нажимом, как будто цитировал. — У нас панельный дом. У нас плита перекрытия треснула по всей длине, в двадцать втором году постройки. Вот я лично туда палец засовываю. А мы — не зона. Это как?

— Трещина в плите — это не критерий, — сказала Ася. — Критерий — это деформация фундамента и...

— Плита треснула, а не критерий?

— Она могла треснуть от чего угодно. От усадки, от...

— От чего угодно, — повторил мужчина и посмотрел в зал.

— Подождите. — Ася почувствовала, что краснеет, и разозлилась на это. — Смотрите. Если трещина от подрботки, то у неё будет характерное раскрытие, оно растёт, оно замеряется по маяку, я ставлю маяки, у вас на подъезде стоит маяк с третьего июля, он целый. Я могу вам показать. Он целый, понимаете? Он не порвался. Значит, трещина старая и она не растёт, значит, это не отсюда.

Мужчина постоял.

— Маяк, — сказал он. — Ну ладно. Маяк.

И сел, и Ася выдохнула, и только потом поняла, что он не согласился, а просто сел.

Дальше пошло быстрее и хуже.

Встал кто-то с Проходчиков, из нечётных:

— А у меня градусник дома сорок один показывает в подполе. Сорок один! Я бабку выношу на руках зимой, у неё ноги. И я — не зона?

— Сорок пять — это на глубине два с половиной метра в грунте, а не в подполе. В подполе может быть от печки, от...

— От печки у меня в подполе, значит.

— Я не сказала, что от печки, я сказала, что может быть...

— Ты, девка, определись, — сказал он не зло, а как-то устало. — Может или от печки.

Встала женщина — уже не в первом ряду, а сбоку, у стены:

— А почему граница по улице? Вот вы объясните людям. Почему она у вас ровно по дороге? У Кузнецовых через дорогу — они в зоне. А мы напротив, двадцать метров, — мы не в зоне. Что, огонь по асфальту ходит?

— Огонь идёт по пласту, — сказала Ася. — Пласт залегает наклонно. Он выходит под углом. Поэтому на поверхности граница может быть где угодно, она вообще не связана с тем, как стоят дома, она связана с тем, как лежит уголь.

— Как лежит уголь, — повторила женщина.

— Да.

— А кто это проверял, как он лежит?

— Это маркшейдерские планы шахты, там...

— Шахту закрыли в девяносто восьмом, — сказал кто-то от дверей.

— Планы остались.

— Планы остались, — сказал тот же голос. — Ага.

Ася открыла рот и закрыла.

Она вдруг очень ясно увидела себя со стороны: двадцать три года, белая блузка, указка, ватман с красной линией, и шестьсот человек внизу, в темноте зала, которые смотрят на неё с одинаковым выражением — а выражение было доброжелательное. Вот что было страшнее всего. Они не орали. Они не топали. Они сидели и доброжелательно смотрели на неё, и приглашали на пирог, и говорили, что она не виновата, и каждый второй при этом успел сообщить, что у него треснула плита, провалился подпол, слегла бабка и что у соседа напротив ничего этого нет.

— Я понимаю, — сказала она в микрофон. Получилось жалко. — Я на самом деле понимаю. Но я правда только измеряю. Решает комиссия.

И вот тут зал коротко и согласно загудел, и по этому гудению Ася поняла, что сказала единственно верную вещь и что теперь её отпустят.

Потом было ещё сорок минут, но уже не про неё.

Птахин снова взял микрофон, и говорил про сроки, про то, что документы принимаются до конца октября, про то, что комиссия по обследованию жилфонда сформирована из жителей, по двое с улицы, и что это сделано специально, чтобы никто не говорил, будто администрация что-то решает за спиной. Зал слушал очень внимательно. Ася стояла сбоку, у щита, и смотрела на людей, и видела, как они переглядываются — не с теми, кто рядом, а через ряды, через проходы, ловя чей-то конкретный взгляд.

Она стояла и думала, что надо будет завтра переставить скважину номер девятнадцать — нет, не переставить, а поставить контрольную ещё на десять метров южнее, чтобы линия была не по улице, а хотя бы по огородам, чтобы она не делила пополам...

И тут поняла, о чём думает.

Она думала о том, как передвинуть линию.

Не подделать, нет. Ни в коем случае. Просто уточнить сетку, добавить точку, дать программе больше данных — всё абсолютно законно, она имеет право, она даже обязана, если считает сетку недостаточной.

Ася слотнула. Во рту было сухо, и был вкус — металлический, знакомый, как от разряженной батарейки на язык.

Она посмотрела в зал, туда, где сидели с Гвардейской, и нашла глазами третий ряд от стены. Там сидела Дудко Тамара Анатольевна, в сером платке, и рядом с ней — её Славик, двадцати лет, в коляске, с запрокинутой набок головой.

Тамара Анатольевна поймала её взгляд и чуть-чуть, одними бровями, кивнула.

Ася отвернулась к ватману и стала смотреть на изотермы так внимательно, как будто видела их впервые.

Расходились долго.

В фойе, под лепниной и под доской «Наши ветераны», стояли группами и разговаривали, и Ася шла к выходу сквозь это, и её трижды останавливали.

— Анастасия Юрьевна! А вы к нам зайдите, посмотрите своим прибором, у нас в сенях зимой иней на стене.

— Хорошо, я зайду. У меня скважина рядом, я в среду буду.

— Со своим прибором приходите, не с ихним.

— У меня один прибор.

— Ну с одним приходите.

Женщина у гардероба, которую Ася не знала, сказала ей вслед — не тихо, а ровно с той громкостью, чтобы дошло:

— Ей-то что. Она померила и уехала.

И вторая, рядом, немедленно:

— Да ладно тебе. Девочка при чём.

— Я и говорю, что ни при чём. Я говорю — уехала и всё. — Пауза. — Хотя кто её знает, чья она.

— Ну ты скажешь.

— Я ничего не говорю.

Ася прошла мимо, глядя в пол, и на крыльце вдохнула глубоко, как ныряльщик.

Дождь кончился. Воздух был мокрый и холодный, и в нём стояло всё то, что здесь всегда стояло, — и она поймала себя на том, что уже не различает этого.

В июне она две ночи не спала и один раз выбежала из-за стола. В июне она звонила маме и плакала в трубку, и мама говорила: «Проси перевод, ну что ты будешь там сидеть». В июле — притерпелась. В августе перестала замечать.

А сейчас она стояла на крыльце, специально втягивала воздух носом, глубоко, и — ничего. Мокрый асфальт. Уголь из котельной. Тополь.

И где-то на самом краю, если очень постараться, — слабое, кисловатое, безымянное, как от старой проводки.

«Привыкла», — подумала Ася.

Мысль была успокаивающая, и она постояла с ней немножко, и потом мысль почему-то перестала быть успокаивающей, и Ася быстро пошла вниз по ступенькам.

У нижней ступеньки она задела сумкой перила, сумка раскрылась, и из неё посыпалось: журнал в клеёнчатой обложке, ручка, ключи, крышка от батарейного отсека диктофона — маленькая, чёрная, она вечно отскакивала.

Ася присела и стала собирать.

Кто-то присел рядом.

Она подняла глаза. Мужчина — не старый и не молодой, лет тридцати пяти, в ватнике поверх спортивной кофты, небритый, с мягким, немного детским лицом. Он не смотрел на неё. Он смотрел на асфальт и очень внимательно, аккуратно собирал мелкое: крышечку, колпачок от ручки, скрепку, которая, кажется, вообще была не её.

— Ой, спасибо, — сказала Ася.

Он сложил всё в ладонь, потом переложил в её ладонь — по одному предмету, отдельно, как передают что-то хрупкое.

— Крышечка, — сказал он.

— Ага, спасибо. Она отваливается всё время.

— Отваливается всё время, — повторил он. — Ну. Она резиночку туда, под неё. От банки.

— Что?

— Резиночку. Держать будет.

Он встал и пошёл, засунув руки в карманы ватника, и на ходу правой рукой в кармане что-то тёр — ритмично, большим пальцем, туда-обратно. Ася посмотрела ему вслед.

Из дверей вышли двое, и один сказал другому вполголоса, кивнув в ту сторону:

— Опять Гена крутится.

— Да пусть крутится. Он тихий.

— Тихий-то тихий.

И оба замолчали, и разошлись.

В комнате она первым делом включила плитку под чайником, потому что в комнате было плюс четырнадцать и батареи ещё не включили.

Комната была в бывшем профилактории при АБК — восемь квадратов, кровать, стол, стул, шкаф, розетка, лампочка без абажура, окно на отвал. Вахтёрша баба Надя выдала ей второе одеяло ещё в августе и с тех пор каждый вечер спрашивала, не холодно ли.

Ася сняла блузку, скомкала, бросила на стул. Надела свитер, носки, села на кровать, подтянула колени.

Достала диктофон.

Ranasonic, чёрный, с алюминиевой сеточкой на микрофоне, куплен в Кемерове на четвёртом курсе за деньги, отложенные на сапоги. Кассеты она брала б/у, по десять рублей, в ларьке у автовокзала — целый пакет, чьи-то старые записи, поверх которых она писала свои замеры.

Она вставила кассету с наклейкой «16.09», перемотала к началу и нажала воспроизведение, чтобы проверить утренний обход.

Из динамика пошёл шум ленты, а под шумом — низкий ровный гул, гудение, почти на грани слышимого, как от трансформатора за стеной.

Потом её собственный голос, медленный и очень спокойный, совсем не тот, каким она говорила сегодня со сцены:

«Шестнадцатое сентября . Скважина семнадцать . Температура на забое двадцать девять и четыре» .

Ася нажала «стоп», отмотала назад, послушала ещё раз.

«...двадцать девять и четыре» .

Она нахмурилась и отмотала в третий раз, потому что ей показалось, что перед её голосом, за долю секунды до, на самом краю шума, кто-то произносит то же самое. Не эхо — эхо было бы после. Раньше. Как будто суфлёр.

Она прослушала четыре раза.

На пятый поняла: это старая запись. Кассета б/у, стирающая головка подсевшая, батарейки на исходе — остаточный слой не стирается до конца, и снизу тянется то, что было тут раньше, чей-то чужой давно записанный голос. Она это уже слышала, ещё в июле, на другой кассете: там сквозь её замеры пробивалась музыка.

— Надо новые купить, — сказала Ася вслух. — Нормальные.

Она отмотала в конец записанного, поставила на запись и стала делать то, что делала каждый вечер.

Сначала — работа. Ровным, медленным, правильным голосом: сводка за день, номера скважин, температуры, отметка о сходе в ДК, пометка «уточнить сетку в районе скв. 19, обосновать письменно». Три минуты сорок секунд.

Потом она сделала паузу, нажала «стоп», посидела.

Потом снова нажала «запись» и сказала другим голосом — быстрым, своим:

— Так. Значит, что надо было ответить этому, в свитере с оленями. Надо было сказать: у вас маяк с третьего июля целый, и это значит вот что, а не вот что. Спокойно надо было. Не надо было говорить «от чего угодно», это глупость, конечно, он сразу уцепился, кто ж говорит «от чего угодно», когда перед тобой шестьсот человек. И не надо было говорить «я только измеряю». Вот это вообще. Это ужасно. — Она помолчала. — Хотя это правда, на самом деле.

Она подтянула одеяло на ноги.

— И вот чего я не понимаю. Почему она обязательно по улице. Ну почему она вот прямо по улице. Если бы она хоть по огородам...

Ася выключила.

Посидела ещё, слушая, как за стеной баба Надя переставляет что-то железное, и снова включила, и сказала совсем тихо, почти шёпотом, наклонившись к сеточке микрофона:

— Мам, у меня всё нормально. Я правда справляюсь. Тут люди хорошие, они меня вареньем закармливают уже. Я тут, знаешь, вообще молодец. Я тут прямо специалист. — Она улыбнулась в темноту. — Пятнадцать секунд. Всё. Спокойной ночи.

Щелчок.

Она отмотала назад на несколько оборотов, чтобы завтра не записать поверх, и по привычке, заведённой ещё на практике, записала в журнал, на полях, номер счётчика ленты — с этого места начинается личное, дальше не стирать.

Счётчик показывал 214.

Ася посмотрела на три цифры, потом на кассету, потом опять на цифры.

— Ну надо же, — сказала она.

И записала.

Глава четвёртая

ФЕЛЬДШЕР

18 сентября 2010.

Постановление отменили на третий день, и Богуш узнал об этом не по телефону, а из конверта, потому что телефон у него был выключен: он два дня спал.

Бумага была короткая. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.09.2010 отменить как преждевременное, материал вернуть для дополнительной проверки. Ниже — три указания, набранные через один интервал: истребовать справку о метеорологических условиях в период с 09 по 11 августа; опросить медицинского работника, производившего первичный осмотр трупа на месте обнаружения; выяснить, имелась ли возможность обнаружения Ковригина П. И. в живых.

Он трижды перечитал третий пункт.

Это была формальность. Он сам писал такие указания, когда сидел с той стороны стола, и писал их именно так — чтобы в материале было закрыто всё, включая то, что закрывать не нужно. Прокурорский помощник, поставивший этот пункт, имел в виду: проверьте, не было ли заявления в милицию раньше, и не было ли бездействия. Проверить это можно было за сорок минут по журналу.

Но сформулировано было иначе.

Имелась ли возможность обнаружения в живых.

Богуш положил бумагу на кухонный стол, придавил чашкой и посмотрел на неё сверху вниз, стоя, сложив руки.

Потом собрался и поехал.

Запах взял его на том же месте, на спуске в распадок, и это было хуже всего: он узнал его заранее, за поворот, и организм начал заранее.

Но взял вполсилы. Не как знакомого — знакомым этого не сделаешь, — а как человека, который уже болел. Он проехал спуск не закрывая окна, дважды сглотнул, и его не вырвало.

Три дня, подумал Богуш. Три дня отпуска, и уже скидка.

ФАП стоял на Гвардейской, в первом подъезде третьей пятиэтажки: две квартиры на первом этаже, объединённые в девяносто первом году, с отдельным входом, пробитым в торце, с бетонным пандусом и железным козырьком. На козырьке лежали шишки. На двери висели две таблички — эмалированная, синяя, «ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ», и бумажная, в файле, от руки: «Если закрыто — стучать в 12-ю квартиру или звонить, тел. ниже. Приходить в любое время».

«В любое время» было подчёркнуто дважды.

Он постучал и вошёл.

Внутри было натоплено до духоты и пахло спиртом, хлоркой и мокрым бинтом, и под этими тремя запахами, глубже, лежало то же самое, что лежало над всем посёлком, — и здесь оно было слабее, потому что его забивали.

Коридор. Вешалка с четырьмя халатами. Кушетка вдоль стены, застеленная выгоревшей зелёной клеёнкой. Над кушеткой — плакат «Первая помощь при отравлении угарным газом», отпечатанный, судя по шрифту, году в восемьдесят четвёртом; человечек на плакате лежал на боку, и одна его рука была подложена под голову, и от времени бумага выцвела так, что человечек стал бледнее фона.

Богуш сел на кушетку, потому что стула в коридоре не было.

Клеёнка под ним была тёплая.

Не комнатной температуры — тёплая, как бывает нагретое телом место, если сесть сразу после того, как встали. Он положил ладонь плашмя и подержал. Тепло было неровное: в середине кушетки ощутимо теплее, к краям сходило на нет. Пятно было размером примерно с лежащего человека.

— Иду, иду, — сказали из-за двери. — Сейчас Валентина руки помое и придёт.

Он снял ладонь.

Валентина Петровна Бердыш оказалась невысокой, плотной, с коротко стриженными крашеными волосами и очень красными от горячей воды руками. Белый халат, застиранный до синевы, поверх халата вязаная безрукавка. Лицо крупное, приветливое, с той особенной необидной внимательностью, которая бывает у людей, привыкших смотреть на чужие тела.

— Здравствуйте, — сказала она. — Ой, а вы сидите на кушетке. Вы не сидите, там неудобно. Пойдёмте в кабинет, там стул.

— Здесь тепло, — сказал Богуш.

— Так солнце.

Богуш посмотрел на окно в конце коридора. Окно выходило на север, на торец соседнего дома, в пяти метрах. За окном было серо.

— Ну, с утра было солнце, — сказала Валентина Петровна, уже уходя вперёд по коридору. — Оно с утра сюда достаёт маленько. Пойдёмте.

В кабинете он сел так, чтобы видеть дверь, и это получилось само, и он даже не подвинул стул, потому что стул уже стоял правильно.

Кабинет был маленький, вылизанный и страшно заставленный. Стол с клеёнкой. Стеклянный шкаф с ампулами, где всё стояло по росту. Кушетка вторая, с валиком. Кварцевая лампа на штативе, накрытая марлей. Автоклав. Весы с ростомером. Картотека — деревянный ящик на восемь отделений, самодельный, крашенный белой масляной краской, и в нём сотни карточек, и на торцах карточек — рукописные буквы на приклеенных полосках бумаги.

И на подоконнике, рядом с алоэ в банке из-под майонеза, — раскрытая коробка с бинтами, и один бинт был размотан.

Валентина Петровна села, придвинула коробку к себе и, не глядя, стала сматывать бинт. Пальцы пошли ровно, по кругу, быстро, и Богуш понял, что она будет делать это весь разговор.

— Вы из-за Петра Ильича, — сказала она.

— Из-за него.

— Я так и думала. — Она кивнула бинту. — Я Оксане говорю: он ещё приедет. А она: да чего ему приезжать, он написал уже. А я говорю: приедет. Раз написал, значит, потом приедет ещё раз, потому что там же читают.

Богуш достал папку и открыл на протоколе осмотра.

— Валентина Петровна, вы одиннадцатого августа выезжали на место обнаружения трупа?

— Ходила, — сказала она. — Не выезжала, а ходила. Там же за огородами, туда не заедешь.

— В котором часу?

— Меня позвали в двенадцатом. Пришла в двенадцать, там уже мужики стояли. Спустили меня на верёвке, я посмотрела, поднялась, сказала: всё, он не сегодняшний. Потом их ждали, из района, они к вечеру.

Она сказала это ровно, ни одним словом не задержавшись на «спустили меня на верёвке».

— Вас спустили в провал?

— Ну а как.

— Глубина пять метров.

— Пять с чем-то. — Пальцы шли по кругу. — Мне ж надо посмотреть. Я посмотрю и скажу. А то в прошлый раз, в позапрошлом году, у Сизовых мальчишка в силосную яму упал,

так они его тоже — всё, готов, а я пришла, а он живой. Восемь лет ему было. Я его вытащила, два ребра, и ничего, он сейчас в Киселёвске учится.

Богуш записал: «Спускалась в провал по верёвке лично, глубина 5,1 м, время ок. 12:00. Осмотр проведён на дне».

— Что вы установили при осмотре?

— Трупные пятна на боку, на левом, и не сходят под пальцем. Ну и холодный. И окоченение полное, я челюсть попробовала. — Она подняла глаза. — Вам как записывать, попростому или как?

— По-простому.

— Ну вот по-простому и говорю. Он сутки там лежал, больше. Я так и сказала.

— Цвет кожных покровов?

Валентина Петровна остановила бинт.

— Розовый, — сказала она. — Он розовый был.

— Вас это не удивило?

— Меня? — Она посмотрела на него почти с жалостью. — Милый мой, я тут двадцать пять лет. Я розовых видела больше, чем вы живых.

Она сказала это без всякой рисовки, и Богуш ей сразу поверил, и, поверив, впервые за всё утро почувствовал что-то вроде облегчения: с этим свидетелем можно было работать.

Он спросил про угарный газ, и она заговорила про угарный газ, и говорила минут десять, и всё это Богуш мог бы прочитать в любом методическом пособии, но она не читала пособий, она говорила из рук.

— У нас же в подвалах датчики поставили, в шестом году, по программе, — говорила она, и бинт снова пошёл по кругу. — Хорошие датчики, с батареейкой. А батарейку кто менять будет. Он пищит два года, потом батарейка садится, он ещё год пищит потихонечку, а потом перестаёт. И всё, и стоит себе на стенке. И люди думают: раз он не пищит, значит, ничего нет.

— Сколько у вас за зиму?

— Отравлений?

— Со смертельным.

— По-разному. — Она посчитала, шевельнув губами. — В прошлую двое. В позапрошлую трое было, но там семья, они втроём сразу, у них печь. Обычно двое.

— В год?

— В зиму, — поправила Валентина Петровна. — Летом-то откуда.

Она сказала «обычно двое» тем же тоном, каким сказала бы «обычно в четверг привозят хлеб», и Богуш записал это слово в слово, хотя к делу Ковригина оно не относилось.

— Валентина Петровна, третий вопрос у меня формальный. — Он развернул бумагу, нашёл строчку. — Имелась ли возможность обнаружения Ковригина живым.

Бинт остановился.

Это была очень короткая остановка, полсекунды, и если бы Богуш не сидел напротив и не смотрел на руки, он бы её не заметил. Потом бинт пошёл дальше.

— А как же, — сказала Валентина Петровна.

— В смысле?

— Так он же девятого ушёл, а нашли одиннадцатого. Конечно, имелась.

— Я про другое. Я про то, было ли заявление раньше.

— А. — Она снова пошла ровно. — Нет, заявление Валерка подал десятого, я знаю, я ему и сказала подавать. Я говорю: Валера, иди пиши. А он: да он у соседей сидит, отсыпается. Я говорю: иди пиши, он не у соседей.

— Почему вы так решили?

— Ну потому что я у соседей была, — сказала она с лёгким недоумением.

Богуш записал и это.

Потом он сделал то, чего делать не собирался, и понял, что делает, только когда уже сказал:

— В таких случаях смерть не мгновенная.

— Знаю, — сказала Валентина Петровна.

— У него сорок четыре процента карбоксигемоглобина. Это значит, что он дышал долго. Она отложила бинт.

Это было заметно: она положила смотанный бинт в коробку, закрыла коробку, поправила её на два сантиметра и сложила руки на клеёнке. У неё были широкие, с короткими ногтями, потрескавшиеся руки, и, сложенные, они выглядели неуместно — как будто им впервые за много лет не дали занятия.

— А сколько? — спросила она.

— Что сколько?

— Ну сколько человек там живёт. На дне.

Богуш посмотрел на неё.

Она смотрела в ответ спокойно и внимательно, чуть наклонив голову к левому плечу, — так смотрят на врача, который объясняет анализ, и так смотрят на мастера, который объясняет, почему течёт кран. Ни ужаса. Ни любопытства того нехорошего сорта, к которому он привык за тридцать лет. Просто человек хотел знать цифру.

И Богуш, который всю жизнь отвечал на такие вопросы неохотно, ответил.

— Зависит от концентрации. У дна свежего провала бывает под тысячу частей на миллион, иногда больше. При тысяче взрослый мужчина набирает смертельное насыщение примерно за час. Может за сорок минут, если двигается. Если лежит тихо — дольше, полтора.

— А если он двигается?

— Быстрее. Чем чаще дышишь, тем быстрее.

— А он двигался, — сказала Валентина Петровна. — У него ладони все содраны, я видела. И на предплечьях. Он лез.

— Лез.

— И нога сломана.

— Обе кости голени.

Она подумала.

— Значит, он лез со сломанной ногой, — сказала она.

— Значит, лез.

— Долго?

— Не знаю, — сказал Богуш. — Этого никто не скажет. Сколько-то лез, потом перестал.

— Потом перестал, — повторила Валентина Петровна.

Она посидела, глядя на клеёнку, потом достала из кармана халата маленький стеклянный пузырёк с притёртой пробкой, вынула пробку, поднесла к носу и коротко, деловито вдохнула — сначала одной ноздрей, потом другой. Закрыла. Убрала в карман.

По кабинету пошёл нашатырь.

— Простите, — сказала она. — Нос забивается.

— От чего?

— Да от всего. — Она пожала плечами. — Хлорка, спирт, автоклав. Работаете-работаете и перестаёте различать, а мне различать надо. Я нюхну — и опять нормально. Двадцать лет так.

Это было полное, законченное и совершенно правдоподобное объяснение, и оно заняло у неё четыре секунды.

— А кричать он мог? — спросила она.

— Что?

— Ну оттуда. Снизу. Слышно?

— Смотря откуда и смотря кому. — Богуш подумал. — Голос из ямы идёт вверх, в конус. Далеко по горизонту не разносится. Если стоять рядом — слышно хорошо. Метров за сто — уже плохо, особенно если ветер.

— А за двести десять?

Он посмотрел на неё во второй раз.

— За двести десять, — сказал он, — вряд ли.

— Вот и я говорю, — сказала Валентина Петровна с явным облегчением и снова открыла коробку с бинтами. — Я Оксане так и сказала, что не слышно. Она говорит: не слышно, мама. Ну вот.

Богуш ничего не записал.

Он дописывал протокол минут двадцать, и всё это время она отвечала так, как отвечают идеальные свидетели: не расширяя вопроса, не рассказывая лишнего, не говоря «наверное», а говоря «не знаю» там, где не знала. Он поставил себе на полях галочку, которую ставил редко: «св. качественный, память сохранна, к суду годна».

Потом она стала рассказывать про посёлок, потому что протокол кончился, а чай она уже поставила.

Чай был крепкий, в стакане с подстаканником, и к чаю она выставила сушки и банку мёда.

— Вы кушайте. Вы худой.

— Я не худой.

— Худой. Вы с дороги и не кушали.

Он взял сушку, и она успокоилась.

— У нас хороший посёлок, — сказала Валентина Петровна. — Вы не смотрите, что так. У нас люди хорошие. Вот вы придёте в любой дом — вас накормят. Вот к любому зайдите. Тут и не запирают никто, вы видели? Ни у кого замка. У нас и не воруют.

— Я заметил.

— И не воровали никогда. — Она мотала бинт. — Это всё оттуда идёт, с разреза. Вот там публика. Вахта. Их привозят, они месяц отработают, уедут, а вместо них других. Они ж не здешние, им всё равно. У Гуковых прошлый год бельё с верёвки сняли — это кто? Это они. Наши так не делают.

— А не наши бывают?

— Так их сюда и не пускают дальше, у них там вагончики.

— Я про посёлок. Свой бывают плохие?

Валентина Петровна остановила бинт во второй раз за день.

— Ну как, — сказала она. — Пьют. Кто пьёт, тот, конечно... Вот Жорка Сизов, он как выпьет, он жену гоняет. Так его и не любят за это. Плохой, конечно. — Она подумала и добавила, уже мягче: — Он, правда, работающий. Он мне крыльцо сделал, весной. И не взял ничего.

И, не делая паузы, ровно тем же голосом:

— А так у нас хорошие.

Богуш допил чай.

— Вы двадцать пять лет здесь, — сказал он.

— Двадцать пять.

— Не хотели уехать?

— Куда я поеду. — Она засмеялась, коротко и не весело, а как смеются на глупость. — Я тут всех приняла. Я тут половину посёлка своими руками приняла, понимаете? Вот идёт по улице человек, а я его первая на руках держала, раньше матери. Куда я от них?

Она сказала «куда я от них», и на слове «от них» что-то у неё в лице село — на одну секунду, как проседает свет, когда в посёлке включается насос, — и Богуш увидел под приветливостью очень ровную, очень старую усталость, лежащую там, вероятно, лет пятнадцать.

— Устаёте, — сказал он.

— Я? — Валентина Петровна подняла брови. — Господь с вами. Валентина не устаёт. Валентина ещё вас переживёт.

И засмеялась, и на этот раз весело, и всё село на место так плотно, что он даже усомнился, было ли.

Она провожала его по коридору и по дороге, не переставая говорить, открыла стеклянный шкаф и стала что-то там переставлять.

— Вы новокаин будете колоть кому — вы тут поосторожнее, — сказала она. — У нас на новокаин трое аллергиков. Я карточки помечаю, вот смотрите, у меня красным уголок. Саша Гук — ему нельзя. Ему в девятом классе кололи, так его так раздуло, я испугалась.

Богуш остановился.

Она стояла к нему спиной, на цыпочках, доставая что-то с верхней полки, и голос у неё был обыкновенный, деловой.

— Саша Гук, — сказал Богуш.

— Сашка, Лидии Семёновны сын. — Она достала, что хотела, и закрыла шкаф. — Так вы имейте в виду.

— Валентина Петровна.

Она обернулась.

Она стояла с коробочкой в руках, приветливая, красная от горячей воды, и смотрела на него, и в лице не было ни тени — ни испуга, ни поправки, ни того мгновенного стыда, который бывает у людей, поймавших себя на оговорке.

— А? — сказала Валентина Петровна.

Богуш подержал секунду.

— Ничего, — сказал он. — Спасибо.

В коридоре, у выхода, лежала собака.

Она лежала на подстилке между вешалкой и батареей, старая, чёрно-рыжая, крупная, с седой мордой и вытертыми локтями. Когда он проходил, она подняла голову и посмотрела на него, не поднимая головы с лап, и хвост шевельнулся два раза.

— Это Пуля, — сказала Валентина Петровна. — Это Оксанина. Она её с девяносто восьмого держит. Ей тринадцатый год, она уже плохо, у неё лапы.

Собака встала — трудно, сначала передом, — подошла и ткнулась Богушу в ладонь, и он машинально погладил её по голове.

— Она ко всем идёт? — спросил он.

— Она ко всем идёт, — сказала Валентина Петровна. — Она у нас дура добрая.

Дверь открылась, вошла Оксана в форменной куртке, с двумя пакетами, и сразу впустила холод и запах улицы.

— Ой, — сказала она, увидев Богуша. — Вы приехали.

— Приехал.

— Надолго?

— Сегодня и обратно.

Оксана кивнула и понесла пакеты мимо, и в дверях кабинета, не оборачиваясь, сказала:

— Валентина Петровна, я хлеб взял и лампочки.

— Спасибо, доченька.

Богуш посмотрел ей вслед.

Она сказала «Валентина Петровна» так же естественно, как говорят «мама», — без нажима, без иронии, без малейшей заминки, — и у собаки на полу хвост стукнул по подстилке два раза.

Он выехал в начале пятого и на подъёме, у указателя с закрашенным квадратиком, остановился и открыл блокнот, чтобы дописать, пока не забылось.

Дописывать было нечего. Всё нужное лежало в протоколе, подписанном на каждой странице аккуратной круглой подписью с завитком.

Он полистал блокнот назад и обнаружил, что за четыре часа записал туда одну-единственную строчку — не показание, не цифру, не фамилию.

Строчка была: «Сколько человек там живёт. На дне».

И ниже, его собственной рукой, дважды подчёркнуто:

«40 мин».

Богуш посмотрел на это.

Он честно попробовал вспомнить, в какой момент он это записывал, и не вспомнил. Он вообще не помнил, чтобы брал ручку в кабинете, — протокол он писал в папке, на бланке, а блокнот весь разговор пролежал на углу стола, под стаканом.

Он поднял глаза.

Распадок лежал внизу, длинный, в сизом слое, и в слое торчали трубы, и над горой Тёплой южный склон стоял чёрный и голый среди первого, ещё не легшего как следует снега, и с этой высоты хорошо было видно, что пятен на склоне не одно и не два, а девять или десять — неправильных, разной величины, и все вытянуты в одну сторону.

Богуш закрыл блокнот и убрал в карман.

Потом снова достал, открыл и приписал под цифрой, сам не зная зачем:

«Она не спросила, кто виноват. Ни разу».

Глава пятая

МЫ НЕ ПОДНИМАЛИ

14 — 25 сентября 1998

Четырнадцатого сентября у нас копали картошку.

Это надо сказать сразу, потому что потом спрашивали, слышали ли мы взрыв, и мы отвечали, что не слышали, и нам не верили. Приезжие вообще многого у нас не понимали, и мы на них за это не в обиде, но повторять одно и то же по четыре раза тяжело.

Мы не слышали. Грохота не было.

Было другое. В четыре пятьдесят две утра по всему посёлку разом хлопнули двери — не все, а те, что были прикрыты неплотно, и у кого сени с улицы. У Казанцевых на кухне выплеснулась вода из ведра, стоявшего на табуретке, и Раиса Тимофеевна потом рассказывала, что вода плеснула не в одну сторону, как от толчка, а поднялась по кругу, как в тазу, когда его качнёшь. В подполах у половины домов с потолка пошла пыль, и это было слышно: сухой шорох под ногами, у себя в доме, снизу, а внизу никого нет.

И изменился вентилятор.

Вот его слышали все. Вентилятор главного проветривания стоял у второго ствола и работал двадцать два года, и мы его не замечали так же, как не замечаешь собственную кровь в ушах. И вдруг он стал слышен. Он взял выше — на полтона, не больше, — и держал эту высоту секунд сорок, и потом вернулся. Те, кто уже проснулся, вышли на крыльцо. Те, кто не проснулся, проснулись.

Мы стояли на крыльцах в трусах и в накинутах, в темноте, в конце тёплого сентября, и смотрели в сторону шахты, и над копром стоял столб, подсвеченный снизу прожекторами. Не дым. Пыль. Из ствола шла угольная пыль, ровным столбом метров на сорок, и сверху её сносило к северу.

Потом завывала сирена на АБК, и мы пошли одеваться.

К пяти двадцати у нарядной стояло человек триста. К шести — весь посёлок.

Внизу в ту смену было семьдесят шесть человек. Это мы узнали не от начальства и не от милиции, а сами, и узнали за десять минут, потому что у нас для этого есть ламповая.

В ламповой, если кто не знает, висит доска. Обыкновенная доска в полстены, крашеная зелёным, на ней крючки в шесть рядов, под каждым крючком выбитый номер, и номеров триста двадцать. Спускаешься — берёшь лампу, а свой табельный жетон вешаешь на крючок. Выходишь — сдаёшь лампу, забираешь жетон. Всё. Кто висит на доске, тот внизу.

Это придумано не для родственников, а для спасателей, чтобы в такое вот утро не считать по памяти. Но получилось, что и для родственников тоже. Ламповщица открыла дверь и не стала никого пускать, а просто отошла в сторону, и мы стояли в дверях по восемь человек и смотрели на доску, и каждый искал свой номер.

Жетон латунный, с дырочкой, размером с трёхкопеечную монету, только толще. У старых стёрт аверс — это оттого, что их трут пальцем: есть такая привычка, спускаясь, потерять. Кто-то считает, что на счастье, а на самом деле просто руки чем-то заняты, когда ты идёшь в клеть.

Мы простояли у той доски шесть суток.

Первых подняли к девяти утра — из наклонного, с верхнего горизонта, там никого не задело, их просто выводили. Их выходило по двадцать, по тридцать, чёрных, в мокром, и они шли через толпу и говорили одно и то же: «Не знаю. Не наш участок. Не знаю». Женщины хватали их за рукава и спрашивали про свои номера, и они отвечали честно, что не знают, и шли дальше, и им было стыдно, что они вышли.

К полудню стало понятно, что горит на минус двести семидесятом, на втором участке, и что пошло от лавы по вентиляционному штреку, и что проветривание опрокинуло.

Пятерых подняли в тот же день.

Мы их назовём, потому что их имена написаны и стоят, и никому не повредит, если они постоят ещё и здесь.

Гук Александр Владимирович, девятнадцати лет, третий месяц после армии, ГРОЗ. Ланцов Владимир Петрович, сорока трёх. Немчинов Анатолий Анатольевич, пятидесяти одного, четыре года до пенсии. Хромов Дмитрий Георгиевич, тридцати пяти. Первушин Егор Тимофеевич, сорока восьми, — этого подняли последним из пятерых, уже ночью.

Их принимали наверху, в мойке, потому что больше нигде: там кафель и вода. Фельдшерица наша была там от начала и до конца и никого туда не пустила, кроме двух женщин, которые ей помогали, и она их сама выбрала, и выбрала правильно. Она стояла там девятнадцать часов и вышла один раз, к Лидии Семёновне, и то не сказать ничего, а просто взять её за руки и поддержать, потому что Лидия Семёновна к тому времени уже знала.

Мы про эту ночь много не говорим. Это не тайна, просто говорить нечего. Кто был — тот был.

А в двенадцатом часу ночи подняли Мазая.

Живого.

Через девятнадцать часов после, из тупика за обрушением, куда ВГСЧ пробивалось вторую смену, — и вот тут мы закричали. Вот тут мы наконец закричали, и это был единственный крик за все шесть дней, и нам потом было за него хорошо.

Он был из того забоя, где четверо. Из того забоя — он один.

Его вынесли на носилках, и он был в сознании, и голова замотана, и он спрашивал. Он всех спрашивал, по фамилиям, снизу вверх, и ему отвечали «выводят», «выводят», «сейчас выведут», и он кивал и спрашивал следующего. Носилки несли до скорой четыреста метров, хотя можно было подогнать ближе, и несли по очереди, и менялись каждые двадцать шагов, потому что нести хотели все. Это правда. Нести его в ту ночь хотели все.

На доске в ламповой осталось четыре жетона.

Номера сорок семь, сто двенадцать, сто восемьдесят шесть и двести три.

Казанцев Иван Иванович, тридцати семи лет. Мошкин Сергей Николаевич, сорока четырёх. Опарин Николай Николаевич, пятидесяти шести. Ярыгин Михаил Михайлович, двадцати восьми.

Все четверо — второй участок, лава два-бис, тупиковая часть вентиляционного штрека за завалом.

Пятнадцатого пошли за ними.

Отделение ВГСЧ прошло по штреку до сто девяносто четвёртого пикета и вернулось: температура тридцать восемь, окись углерода два и шесть десятых процента, впереди горит кровля. Это не тот огонь, который тушат, когда стоят рядом. Это уголь в целике.

Шестнадцатого пошли второй раз.

Мы стояли наверху с четырёх утра, и в семь сорок из ствола пошли клетки, и мы поняли по тому, как их встречали внизу у копра — не бегом, а быстрым шагом, — и у нас у всех сразу отнялось.

В тот день погиб респираторщик. Не наш. Их отряд приехал из Прокопьевска в первые же часы, и они работали четверо суток без нормальной смены, и тот, который погиб, был из третьего отделения, ему было двадцать девять лет, и звали его Сергей.

Отчества мы не помним.

Мы это выучили тогда и потом забыли, и это нехорошо, и мы об этом между собой не говорим. Его увезли в Прокопьевск, и хоронили там, и от нас ездили автобусом двенадцать человек. На нашей доске его нет. Об этом у нас был разговор в девяносто девятом, когда доску

заказывали, и решили, что не надо: доска наша, а у них там своя. Это, если подумать, правильно. Но подумать об этом всё равно неприятно, поэтому мы обычно не думаем.

После шестнадцатого пошли третий раз, двадцатого, уже с другой стороны, по конвейерному, и дошли до отметки, где термометр показал шестьдесят один, и вернулись, и командир отделения сказал начальнику участка одну фразу, которую слышали человек сорок и которую у нас с тех пор повторяют не про шахту, а вообще, когда хотят закрыть разговор:

«Там больше некого выносить, а есть кого положить».

Вот с этого дня, с двадцатого, всё, что мы делали дальше, мы делали уже зная.

Потом писали, что мы их не подняли из-за денег.

Это неправда, и мы это говорим спокойно, без обиды, потому что обижаться надо было в девяносто восьмом, а теперь уже поздно. Денег как раз хватило бы. Бетон на перемычки возили с двух заводов, и возили бесплатно, по звонку, и никто не спросил, кто будет платить, и до сих пор не спросил. Люди работали без наряда. Область дала вертолёт на третий день, хотя вертолёт был не нужен.

Дело было не в деньгах, а в трёх вещах, и их надо назвать по порядку, потому что порознь они звучат иначе, чем вместе.

Первое: живых там не было. Это не мнение. При двух с половиной процентах окиси человек живёт минуты, а прошло уже шесть суток, и температура в тупике стояла выше шестидесяти, и она росла.

Второе: за ними уже сходили трижды, и один не вернулся. Четвёртый раз — это не «ещё одна попытка», это очередь. Мы тогда впервые посчитали и ужаснулись арифметике, и с тех пор больше не считаем вслух.

Третье: пока участок открыт, он дышит. Огонь брал воздух через наши же выработки, и очаг шёл, и никто не мог сказать, куда он пойдёт дальше, а под посёлком, если смотреть на план, всё связано со всем.

И двадцать пятого сентября собралась комиссия.

Она заседала в кабинете начальника шахты, в АБК, на втором этаже, с двух дня до без четверти восемь. В ней было одиннадцать человек: трое из области, двое из Госгортехнадзора, командир ВГСЧ, начальник шахты, главный инженер, начальник второго участка, председатель профкома и один горный мастер — его позвали, потому что он этот штрек проходил и знал там каждый метр.

Мы знаем, что там говорили, хотя протокол нам никто не показывал. У нас посёлок. У нас всё знают.

Решение было такое: изолировать выемочный участок два-бис взрывоустойчивыми перемычками по вентиляционному и конвейерному штрекам, с последующим заиливанием. По конвейерному — на сто шестьдесят первом пикете. По вентиляционному — на двести четырнадцатом.

Пикеты у нас через двадцать метров. Двести четырнадцатый — это четыре километра двести восемьдесят метров от ствола. Оттуда до наших огородов по прямой, если наверх, — метров девяносто. Это все сразу посчитали, в тот же вечер, и пересчитывали потом много раз, и каждый раз выходило девяносто.

Четверо оставались внутри.

Так и было записано, в одну строчку, между пунктом про сроки и пунктом про финансирование. Мы эту строчку не видели, но знаем, что она короткая.

И вот дальше — то, за что нас потом не любили и о чём мы сами говорим неохотно.

С семьями разговаривали двадцать шестого.

Не на собрании. По одному. Их вызвали в кабинет по одному, каждому назначили своё время — в девять, в десять, в одиннадцать, в двенадцать, — и с каждым сидели минут по

сорок, и на столе стоял чай, и чай никто не пил. Заходили вдвоём-втроём, с кем-нибудь из родни, и выходили тоже.

Это придумал не злой человек и придумал не со зла. Наоборот: чтобы не при всех. Чтобы женщина, если ей надо кричать, кричала при двоих, а не при ста сорока, и чтобы потом не стыдиться перед посёлком. У нас же все всё помнят, у нас человек может потом двадцать лет ходить с тем, как он один раз при всех крикнул.

И надо честно сказать, что вышло хорошо. Никто не кричал.

Раиса Казанцева спросила только, будет ли где-то место, куда можно прийти, — вот это её слово, «место», — и ей ответили, что будет, и через год оно и было, и стоит до сих пор, и она туда ходит. Ярыгина, Мишина мать, сказала, что она согласна, если так лучше для остальных, и повторила это дважды, и ушла, и её проводили до дома. Мошкина попросила, чтоб внутрь положили его кружку — не в шутку, она принесла кружку с собой, эмалированную, синюю. Её взяли. Мы не знаем, положили или нет, и не спрашивали ни разу, и, пожалуй, не спросим.

Опарины согласия не дали.

То есть дал сын, Колька, который жил тут же, на Садовой, и который через два года уехал. А сестра Николая Николаевича, она жила в Кемерове и приехала двадцать восьмого, когда уже ставили, — не дала.

Она сказала, что это называется одним словом, и назвала это слово.

Она потом писала в Москву, и в прокуратуру, и, кажется, куда-то ещё, и ей отвечали, и ничего не вышло, и это, если разобраться, не могло выйти, потому что решение было принято правильно и по всем инструкциям, и любая другая комиссия приняла бы такое же.

Мы её понимаем. Мы на её месте, наверное, тоже.

Только она у нас не жила. Это не в укор, это просто так есть: она приехала на сутки из города, где можно вызвать пожарных, и уехала обратно в город, где можно вызвать пожарных. А мы остались тут, и нам тут было потом жить, и жить надо было со всеми сразу — и с Раисой, и с Ярыгиной, и с теми ребятами из ВГСЧ, которых мы каждый год двадцать пятого поминаем отдельно.

На девятый день она не приехала. И на сороковой не приехала. И больше вообще не приезжала, ни разу, и Кольку от нас увезла, и на девяносто девятый год, когда ставили доску, прислала телеграмму, чтоб фамилию не писали.

Фамилию написали. Не могли же мы не написать.

Перемычки ставили с двадцать шестого сентября по четвёртое октября.

Работал весь посёлок. Не по наряду — наряда не было, шахту уже фактически не считали действующей, — а просто пришли и работали. Возили бетон, таскали блоки к клетки, резали доску на опалубку, варили закладные. Бабы носили еду в ведрах, обмотанных полотенцами, и стояли с этими вёдрами у нарядной, и раздавали по кругу, и никто не распоряжался, кто когда, — сами знали.

Это была последняя работа, которую шахта нам дала.

Мы её вспоминаем чаще, чем всё остальное, и вспоминаем хорошо, и в этом нет ничего дурного. Просто так вышло, что самая дружная работа за двадцать лет была вот эта.

Четвёртого октября в семнадцать двадцать закрыли последний проём на двести четырнадцать.

Наверху в этот момент никто не молчал и не снимал шапок, потому что наверху никто не знал точного времени — знали только, что сегодня. Люди просто работали. И вот тут случилась одна вещь, про которую у нас говорят до сих пор и про которую всё давно объяснено, но мы всё равно говорим.

В семнадцать двадцать в посёлке просел свет.

Не погас — просел, на секунду, до жёлтого, и вернулся. И через одиннадцать секунд ещё раз. И ещё раз.

С того дня у нас так и есть. Раз в одиннадцать секунд лампочка садится и поднимается, и если смотреть на люстру, то видно, а если не смотреть, то и не замечаешь. Электрик из РЭС объяснял: подстанция шестикиловольтная, старая, на ней насосы водоотлива, а водоотлив после изоляции переключили на другой режим, и он теперь берёт толчком. Это разумно и, наверное, так и есть. Один раз, году в двухтысячном, водоотлив вообще встал на двое суток — насосы сняли, — и свет всё равно моргал, и электрик сказал, что это тогда от подстанции, и поехал.

Мы про это не спорим. У нас дома, у кого телевизор новый, вообще не видно.

А про хлеб надо сказать отдельно, потому что теперь про это смеются, а тогда не смеялись.

У второго ствола, у бетонной тумбы, старики с октября стали оставлять хлеб. Ломоть на газете и сигарету рядом, и спички. Это старое, от дедов: хозяину выработки. Мы в него не верили и в девяносто восьмом, и не надо думать, что у нас тут дикие. Но и не мешали. Иванов, Пётр Иванович, который тогда носил, объяснял так: там четверо, и к ним теперь никак, и вот хоть так.

Вот это, по-честному, и есть настоящее объяснение, и никакой Шубин тут ни при чём.

Хлеб к утру пропадал. Собаки. У нас же собак сорок голов у котельной.

Ствол заварили только через три года, в две тысячи первом, и вот тогда тумба и осталась.

В октябре мы стали разбираться, с чего началось.

Это правильно. Это обязательно нужно — знать, с чего началось, иначе как жить дальше и как отпускать детей в смену. На шахте всё записано: наряды, журналы, замеры, рапорта. Всё лежит, всё подшито, у нас порядок, у нас не Америка.

Комиссия работала до декабря, и ей выдали всё, что она просила, и мы её не торопили.

Мы тогда ещё никого не называли.

Мы назвали в октябре.

А доску в ламповой не трогали.

Это вышло само. В ноябре ламповую опечатали вместе со всем АБК, а до ноября туда заходили, и никто не поднял руку снять четыре жетона с крючков, потому что снимают жетон, когда человек вышел. Так заведено. Ламповщица наша, тётя Шура, работала там с семьдесят четвёртого, и она сказала: пускай висят. И они висят.

Мы туда, в общем, не ходим. Но там не разорено, у нас не воруют: стёкла целы, полотенца на крючках в мойке висят, ведро стоит. И доска стоит зелёная, и на ней четыре латунных кругляшка: сорок семь, сто двенадцать, сто восемьдесят шесть, двести три.

Четыре мы объяснить можем.

Только их там пять.

Пятый висит на двести четырнадцатом крючке — крайний справа, второй ряд снизу, — и висел он там уже пятнадцатого сентября утром, потому что мы все стояли в дверях и все его видели, и никто ни слова не сказал.

А хозяин его в ту смену внизу не был.

Он был на поверхности, у вентилятора, и ночь простоял там, и утром ходил по посёлку живой и здоровый, в своей брезентовой куртке, и здоровался с нами.

И мы с ним ещё здоровались.

Глава шестая

БАРАБАН

Марат проснулся оттого, что за стеной шуршала бумага.

Отец пересчитывал.

Это было в третьем часу, и это было каждую ночь, сколько Марат себя помнил в этом доме, — только раньше оно называлось «поимённо по участку», потом «по цеху», а теперь никак не называлось. Отец сидел на кухне под лампой, разложив на клеёнке листы, и вёл по строчкам ногтем, и на каждой десятой строке ноготь щёлкал по бумаге, чтоб не сбиться. Щёлк. Щёлк. Щёлк.

У Марата во рту было как в пепельнице, и справа под рёбрами сидело тупое от вчерашнего, и он лежал на диване в зале в носках и в джинсах и слушал.

Щёлк.

Вчера было пиво у Дёмы, потом водка у Дёмы, потом они пошли к недострою, потому что туда всегда идут, когда больше некуда, и сидели на пятом этаже, свесив ноги, и Дёма говорил про Оксану, и Марат слушал и кивал, и думал, до какой степени ему всё равно.

Он повернулся на бок и посмотрел в окно.

Фонарь на углу просел, поднялся, просел. Одиннадцать секунд. Он знал это с детства, как знают своё сердце.

В семь его разбудил отец — не голосом, а тем, что включил в сенях свет и загремел ведром.

— Поедешь с институтской, — сказал отец в дверь. — На дальние скважины повезёшь. У них машина стоит.

— У них аккумулятор.

— Ну вот. — Отец уже надевал в сенях сапоги, и говорил не в комнату, а куда-то в стену над обувной полкой. — В девять чтоб был у профилактория. И это. По-человечески с ней.

— Как это?

— Как с человеком, — сказал отец и вышел.

Он ждал её у профилактория с без десяти девять, потому что приехал раньше, и сидел в «буханке» с открытой дверью и курил.

В «буханке» пахло бензином, горячей пылью с печки и старым брезентом. Сиденье слева, у водителя, было продавлено по его форме за два года, и он в нём сидел как в ладони. Работа была никакая и все про это знали: возить. Возить членов комиссии, возить бумаги в район, возить бабок в больницу, когда у скорой нет солярки. Его поставили сюда в две тысячи восьмом, и в первый месяц ему трижды говорили «ну ты-то понятно», и он трижды отвечал «ага», и потом перестали говорить, а «ага» осталось.

Она вышла в двадцать минут десятого, и он успел увидеть, как она вышла: сначала в дверях появилась сумка, потом штатив, потом она сама, боком, придерживая дверь спиной.

— Извините, — сказала она. — Я думала, в полдесятого.

— Нормально.

Он взял у неё штатив и почувствовал, какой он лёгкий, — алюминиевый, ничего в нём не было, — и всё равно понёс его к машине так, будто это тяжесть.

Она села вперёд, поставив сумку на колени, и сумка была большая, брезентовая, с ручками кожаными углами.

— Куда мы? — спросил он.

— За реку. — Она достала из сумки планшет с зажимом, на планшете была карта в файле, и на карте — крестики с номерами. — Тридцать первая, тридцать четвёртая, тридцать девятая и сорок первая. Тридцать девятая дальше всех, там где сосны лежат.

— Я знаю, где сосны лежат.

— Ага, — сказала она и посмотрела на него быстро и сбоку.

Через мост поехали шагом, потому что доски. Над Гривкой стоял пар полосой, ровной, как забор, и в паре крутились мелкие мушки — в конце сентября, после трёх заморозков.

— А это что? — спросила она.

— Мошка.

— В сентябре?

— У нас над речкой всегда.

Она записала что-то в блокнот, и он на ходу покосился и увидел, что она записала не «мошка», а температуру воды, которую она никак не могла знать, и, значит, записала вчерашнюю, по памяти. Аккуратная.

За мостом начиналась гарь, и он сбавил, потому что колея тут ходила.

— Вы давно тут? — спросила она.

— Всегда.

— В смысле — родились?

— Ну.

— И не уезжали?

— В армии был. В Юрге.

— И всё?

— И всё, — сказал Марат.

Она помолчала, и он понял, что она сейчас скажет что-нибудь вежливое, и она сказала:

— Здесь красиво вообще-то. Сопки.

— Ага, — сказал Марат.

Тридцать первая скважина стояла в бурьяне, обсаженная железной трубой с крышкой на цепочке, и цепочка была новая, а труба старая. Ася открыла крышку, опустила датчик на проводе, засекала время по наручным часам и села на корточки ждать.

Марат стоял в трёх шагах и курил.

Он стоял так, чтобы видеть не её, а склон, — и всё равно видел её: как она сидит на корточках, обхватив колени, и как у неё под задравшейся курткой белеет полоска спины над поясом джинсов, и как она этого не знает.

Он отвернулся и посмотрел на Тёплую.

Южный склон стоял голый. Там, где к октябрю обычно ложился первый снег и держался в ложбинках, снега не было и в помине, и трава была зелёная, как в июне, и в траве работали мухи. Пятна шли от гребня вниз тремя языками, и средний язык в этом году сдвинулся вправо, к распадку, метров на сорок — это было видно по кустам: полоса караганы вдоль старой борозды с той стороны стояла бурая и сухая, а с этой ещё живая.

Марат смотрел на этот сдвиг и чувствовал его, как чувствуют чужую мебель в темноте.

— Двадцать один и восемь, — сказала Ася сзади. — Немножко.

— Немножко, — согласился Марат.

На тридцать девятой пришлось идти пешком метров четырёста, потому что дальше колея уходила в промоину.

Он нёс штатив и сумку, она — планшет и прибор. Шли по низу, вдоль подошвы склона, и под ногой была то мёрзлая кочка, то мягкое.

Марат шёл слева и наступал, куда привык.

Потом он наступил не туда, и нога ушла в дёрн на полподошвы, и снизу, через подошву и через носок, пошло тепло — не тепло от солнца, которого не было, а другое, ровное, из-под земли, как от печки, если стоять на приступке.

Он остановился и стоял.

— Что? — сказала она.

— Ничего.

Он присел и положил ладонь плашмя на траву, рядом со следом. Трава была мокрая и тёплая. Он провёл ладонью полукругом, влево-вправо, как проводят по спине больной собаки, и определил границу: слева — тепло, справа, в полуметре, — холодное.

— Тут вот так, — сказал он и показал линию рукой, не глядя. — Оттуда и вон до той жерди.

Ася подошла, села рядом на корточки, достала из кармана щуповой термометр — короткую нержавеющую иглу с круглым циферблатом — и воткнула в землю сначала слева, где он показал, потом справа.

Смотрела на циферблат секунд сорок.

— Двадцать восемь и четыре, — сказала она. — И шесть и один.

Она обернулась к нему, и у неё было совершенно открытое лицо, детское, с той радостью, с какой у неё, наверное, ставили пятёрки.

— Как вы узнали?

Марат пожал плечами.

— Тепло же.

— Через подошву?

— Ну.

Она ещё посмотрела на него, коротко, и, кажется, решила, что это враньё, и ей это понравилось.

— Я запишу как контрольную точку, — сказала она. — Можно?

— Пиши.

Она записала и сказала, уже в блокнот, вниз:

— Вообще тут держится нормально. Вот этот кусок, от старой борозды и вниз, он у меня в устойчивых.

Марат посмотрел на старую борозду.

Потом он сказал:

— Угу.

И взял штатив, и пошёл дальше.

В июне его позвали крутить барабан.

Позвал отец, за три дня, на кухне, тем же голосом, каким говорил про соляру:

— В пятницу в шесть в клубе. Наденешь рубашку.

— Зачем?

— Барабан крутить.

— Какой барабан?

— Обыкновенный. — Отец складывал листы в папку, ровняя их о клеёнку. — Жеребёвка по резервным. Чтоб при всех. Чтоб потом никто не говорил, что администрация в кабинете решила.

— Так пусть Нина Афанасьевна.

— Нина Афанасьевна работник администрации, — сказал отец и посмотрел на него.

Он посмотрел на него целых три секунды, а потом увёл взгляд на папку и сказал папке:

— А ты никто.

И вот это было сказано без злобы, деловито, как объясняют устройство, и Марат потом весь вечер не мог понять, почему у него от этого стоит в горле и почему он согласился сразу, не поторговавшись даже для вида.

Жетоны привезли из АБК за день.

Их велено было взять в ламповой, в ящике под доской: там лежали старые, снятые с учёта, с восьмидесятых. Марат поехал один, отпер навесной замок ключом из конторы и вошёл.

В АБК не было разорено. Он этого не помнил и удивился: стёкла целые, на крючках в мойке висят полотенца, серые, прямые, как доски; на полу ведро; на подоконнике — пачка «Примы» с двумя папиросинами, брошенная в девяносто девятом и нетронутая. Пахло пылью, сухим цементом и слабо — тем, чем везде.

В ламповой было светло, потому что окна на юг.

Он сразу нашёл ящик, выдвинул, и там лежали жетоны — латунные кругляшки, с дырочкой, штук двести, слипшиеся в комок. Он набрал горсть, потом ещё горсть, ссыпал в холщовый мешок из-под пломб.

Потом выпрямился и посмотрел на доску.

Доска висела в полстены, зелёная, в шесть рядов крючков, и она была пустая, и на ней висело пять жетонов.

Марат знал про четыре. Это все знали, это говорили при детях, это было как то, что в реке нельзя купаться ниже сброса.

Он подошёл ближе и посчитал ещё раз, губами.

Пять.

Он постоял. Потом посмотрел на свою горсть в мешке и подумал, что мешок надо завязать, и завязал, и пошёл, и в дверях оглянулся, но не на доску, а на окно, потому что в окно светило и было видно пыль.

Отцу он не сказал. Отец спросил только:

— Одинаковые?

— Одинаковые.

— Хорошо. Тяжёленькие, удобные. А то шарики эти пластмассовые — они лёгкие, они по барабану скачут, люди потом говорят, что их подкручивают.

Барабан принесли из «Рябинки».

Это был фанерный лотерейный барабан на оси, с ручкой сбоку, обклеенный фольгой и звёздочками из цветной бумаги, и на боку у него было написано гуашью: «С НОВЫМ ГОДОМ!». Лидия Семёновна сама предложила и сама привезла на тележке, и, когда его поставили на сцену, сама повернула его надписью к стене.

— Вот так, — сказала она. — А то нехорошо.

Зал набился к без четверти шесть.

Народу было меньше, чем в сентябре, — человек триста, потому что это касалось не всех, а девятнадцати семей. Но пришли и те, кого не касалось, и стояли вдоль стен, и это было как на концерте.

Марат стоял на сцене сбоку от барабана в белой рубашке, которую ему выгладила соседка, потому что в доме уют был, а гладить некому.

— Так, — сказал отец в микрофон. — Значит, объясняю ещё раз, для тех, кто пришёл поглядеть. Резервных позиций три. Семей девятнадцать, все девятнадцать прошли по одинаковым основаниям, у всех одинаково, я сам смотрел и комиссия смотрела. Между одинаковыми я выбирать не буду. Я не имею права выбирать между одинаковыми.

Зал зашумел одобрительно.

— Поэтому — жребий. Девятнадцать жетонов, на каждом номер, номера у вас на руках, кто не получил — подойдите сейчас к Нине Афанасьевне. Крутить будет вот, — отец, не оборачиваясь, показал большим пальцем через плечо. — Он у нас лицо не при должности.

В зале засмеялись — хорошо засмеялись, тепло, — и кто-то сзади крикнул:
— Мараточка, ты только за своих не крути!

И снова засмеялись, и Марат тоже засмеялся и развёл руками, и в эту секунду ему было хорошо, как не было давно, — вот так стоять на сцене, при всех, в белой рубашке, и чтоб над ним смеялись по-доброму.

— Перед началом — «Рябинка», — сказал отец. — Лидия Семёновна, пожалуйста.

Девять девочек в белых блузках вышли и встали в две линии.

Лидия Семёновна сидела на стуле у бобинника — большого, в деревянном корпусе, с двумя катушками, — и нажала клавишу, и лента пошла.

Из динамика вместе с проигрывшем пошёл гул.

Он шёл всегда, низкий, ровный, где-то на самом низу, под музыкой, и его невозможно было вычистить: Лидия Семёновна возила ленту в Новокузнецк ещё в девяносто третьем, и ей там сказали, что это наводка и что переписывать бесполезно — оно переписется тоже. Гривцы слушали этот гул на всех похоронах, на всех Девятых мая и на всех Новых годах и не слышали его так же, как не слышали запаха.

Девочки запели.

Пели они хорошо. Марат стоял у барабана в трёх метрах от них и смотрел в зал, и видел, как в третьем ряду у кого-то пошло лицо, и как женщина рядом положила той руку на локоть и не убрала.

Лидия Семёновна сидела к залу боком, прямая, и дирижировала одной кистью, мелко, и смотрела не на девочек, а чуть выше их голов, на пустое место.

Потом она сняла ленту и стала её сматывать пальцами, не глядя.

— Крути, — сказал отец.

Марат взялся за ручку.

Ручка была шершавая от гуаши. Он крутил медленно, как велели, чтобы было видно: десять оборотов, барабан гремел жетонами, гремел хорошо, тяжело, солидно — отец был прав насчёт пластмассовых шариков, — и на десятом Марат остановил, откинул фанерную дверцу на петельке и, не глядя, полез рукой.

Внутри жетоны были холодные.

Он зачерпнул, разжал, взял один, вынул и поднял над головой.

— Читай, — сказал отец.

— Двенадцать, — сказал Марат.

В зале с левого края коротко вскрикнули, и все сразу повернулись туда, и там в шестом ряду поднялась и села обратно Тебенькова Галина Ивановна, и её тут же стали хватать за плечи с трёх сторон.

— Тебеньковы, двенадцатый, — повторил отец в микрофон. — Поздравляю, Галина Ивановна. Крути дальше.

Второй был шестой. Ковригины — не тот Ковригин, а его двоюродный, с Садовой.

Марат крутил третий раз, и зал уже стоял.

Он полез в барабан и достал, и вот этот, третий, был тёплый.

Не как нагретый рукой — руки у него были свои, он их чувствовал. А как из кармана. Как если бы жетон весь день пролежал у кого-то в штанах и его только что вынули.

Марат подержал его секунду в кулаке. Жетоны в барабане гремели холодные, все двадцать секунд, он это помнил подушечками пальцев.

— Ну? — сказал отец.

— Двадцать три, — прочитал Марат.

Секунды три было тихо.

Потом с правой стороны, от прохода, поднялся Шалагин Витька — не поднялся, а встал сразу, рывком, — и сказал громко, на весь зал, не отцу, а куда-то в потолок:

— Вот и всё.

И сел.

Двадцать третий был не его. Двадцать третий был Дудко, Гвардейская, двадцать девять, Тамара Анатольевна со Славиком.

И тут зал сделал то, что Марат потом вспоминал чаще всего.

Зал захлопал.

Не жидко, не из приличия — зал захлопал по-настоящему, дружно, и хлопали в том числе и те восемнадцать семей, которые только что проиграли, и хлопал Витька Шалагин, и хлопали Ланцовы, сидевшие через проход от Шалагиных, и Дёма Ланцов, отцов Дёма, стоял и хлопал над головой.

Тамара Анатольевна не встала. Она сидела и кивала, кивала, кивала, а Славик в коляске дёргал головой набок, на звук.

— Ну и правильно, — сказал кто-то в первом ряду, немолодой мужской голос, очень отчётливо. — Им нужнее.

— Им нужнее, — подхватили сзади.

— Тут никто не обижен, — сказал отец в микрофон. — Все видели. Все при всех.

Потом было ещё полчаса, но уже никакого значения не имело.

В фойе стояли группами, курили у крыльца, и Марат слышал обрывками:

— ...по-честному всё, при людях.

— Ильич-то молодец. Другой бы в кабинете.

— Он за нас стоит, он один и стоит.

— Стоит-то он стоит. — Пауза. — А список-то у него седьмой раз переписанный.

— Так он же не сам переписывает, ему сверху шлют.

— Ну да. Сверху.

— Ну и всё тогда.

И разговор закрылся, как заслонка.

А Витька Шалагин и Дёма Ланцов стояли у гипсового горняка вдвоём и курили одну на двоих, потому что у Дёмы кончились, и Витька говорил:

— Я те говорю, они всё равно потом ещё одну откроют. Резервную. У них всегда где-то ещё одна есть.

— Ну а мы-то куда, — сказал Дёма. — Мы с тобой одинаковые.

— Одинаковые, — согласился Витька и засмеялся. — Одинаковые мы с тобой, Дёмка, как два жетона.

Складывал Марат один, уже в одиннадцатом часу, когда зал вымели и свет в фойе погасили наполовину.

Он сгрёб жетоны из барабана в мешок, сел на край сцены, высыпал обратно на ладонь и стал считать, потому что завтра отдавать в контору под расписку.

Насчитал двадцать.

Он ссыпал их в мешок и пересчитал по одному, выкладывая столбиком на доски сцены. Двадцать.

Девятнадцать он засыпал утром — сам, при Нине Афанасьевне, вслух, по номерам, и она отмечала галочками в списке: с первого по девятнадцатый, без пропусков. Три он вынул и отдал. Значит, в мешке должно быть шестнадцать.

Он сидел и смотрел на четыре лишних кругляшка — нет, не четыре, а на один, потому что он уже разложил их по номерам и три лишних оказались не лишними, а его собственной ошибкой в счёте, он сбился на седьмом.

Лишний был один.

Марат поднёс его к свету.

Номер был выбит глубоко, старым штампом, с засечками: 186.

Девятнадцать номеров кончались на девятнадцати.

Он посидел с ним, поворачивая. Латунь на аверсе была стёрта до зеркала — не поцарапана, а именно стёрта, ровно, как стирают пальцем за много лет.

— Значит, из ящика прицепился, — сказал Марат вслух, в пустой зал.

Голос ушёл в зал и не вернулся, потому что в зале были кресла.

Он ссыпал шестнадцать в мешок, завязал, а сто восемьдесят шестой положил в карман джинсов — не потому, что решил взять, а потому, что руки были заняты мешком и барабаном, — и так и унёс, и так и забыл.

Вечером двадцать четвёртого сентября, высадив её у профилактория и поставив «буханку» в гараж, Марат сидел в машине и не вылезал.

В гараже было темно и пахло соляжкой, и с улицы через щель под воротами лежала полоса от фонаря, и полоса просела и поднялась.

Он полез в карман за зажигалкой и вынул жетон.

Он про него знал — он его перекладывал из штанов в штаны всё лето, как перекладывают ключ от чужого замка, — и сейчас вынул машинально, вместе с зажигалкой, и он лежал у него на ладони, круглый, тускло-жёлтый, с чёрной точкой дырочки.

Марат потёр его большим пальцем, туда-обратно, по стёртому аверсу.

Жетон был тёплый.

Он сидел и держал ладонь открытой, и ждал, когда остынет, потому что если вещь тёплая от кармана, то на холоде она за минуту холодная. Он досчитал до ста восьмидесяти.

Жетон был тёплый.

Дома отец сидел на кухне под лампой, и на клеёнке лежали листы.

— Поел? — спросил отец, не поднимая головы.

— Ага.

— Ну иди.

Марат лёг в зале, не раздеваясь, и стал смотреть в потолок, и за стеной пошло: шорох, шорох, щёлк.

Отец считал, как всегда, полушёпотом, и цифры были слышны через стену только на десятках, когда он повышал голос, отмечая ногтем:

— ...сорок... пятьдесят... шестьдесят...

Марат от нечего делать стал считать вместе с ним.

Он сбился один раз, на ста двадцати, и нагнал, и дальше шёл ровно, и слышал, как ноготь щёлкает в такт, и они с отцом через стену шли одинаково: сто семьдесят, сто восемьдесят, сто девяносто, двести.

— ...двести десять, — сказал отец.

Марат дошёл до конца на четыре секунды раньше и остановился.

За стеной зашуршали, собирая листы в стопку, и отец сказал вслух, устало и с удовлетворением, тем голосом, каким закрывают наряд:

— Двести четырнадцать.

Марат лежал в темноте и смотрел в потолок.

У него получилось двести пятнадцать.

Он полежал и решил, что сбился ещё раз, на последних десятках, и что завтра, если будет охота, можно пересчитать по списку в конторе, только охоты не будет.

Жетон в кулаке был тёплый.

Глава седьмая

ХАЛАТ

Первого октября выпал снег и к обеду сошёл, оставив после себя грязь такой густоты, что у опорного пункта, где машины разворачивались, колея стояла до вечера полная воды, и в воде отражалось небо.

Оксана пришла в восемь, затопила печку — в опорном была печка, потому что батарею сюда не завели ещё при советской власти, — и села писать сводку за сентябрь.

Сводка выходила короткая и ежемесячно одна и та же.

Преступлений — ноль. Административных — одиннадцать: девять по статье двадцать точка двадцать один, два по статье двадцать точка один. Профилактических бесед — девятнадцать. Проверено подучётных лиц — четыре. Изъято — ничего.

Она дописала, поставила число и стала ждать, потому что в восемь тридцать всегда кто-нибудь приходил.

Пришли в восемь двадцать пять.

Зашли двое — мать и дочь, обе с Проходчиков, обе в резиновых сапогах и в платках, и обе сели, не снимая курток, на два стула у стены, и мать положила на стол сложенный вчетверо тетрадный лист.

— Оксана Николаевна, вы прочитайте.

Оксана развернула.

Почерк был крупный, старательный, с нажимом, как в прописях. «Заявление. Прошу разобраться в том, что у гр. Ланцовых по адресу ул. Проходчиков, 11, зарегистрированы гр. Ланцова О. М. и двое несовершеннолетних, которые фактически проживают в г. Киселёвске с 2007 года и по указанному адресу не проживают, что я лично подтверждаю, а также соседи...»

Дальше шло восемь строчек.

— Это не ко мне, — сказала Оксана.

— Как не к вам? Вы ж милиция.

— Прописка — это паспортный стол. В районе.

— Так мы в район писали. — Мать поджала губы. — Нам оттуда обратно к вам. Вы ж участковый, вы ж должны выйти и составить. Что не проживают.

— Я могу составить рапорт, если факт есть.

— Так факт есть! Их там нету!

— Ольга Михайловна у них живёт, — сказала Оксана. — Я вчера мимо шла, у неё свет горел.

— Так она приехала, — сказала дочь и посмотрела на мать. — Она сейчас приехала, а до этого три года не жила. Она специально приехала, все знают зачем.

Оксана положила лист на угол стола.

— Я схожу и посмотрю, — сказала она.

— Вы сходите.

— Схожу.

Мать посидела ещё, глядя, как заявление лежит на углу и никуда не движется, и потом сказала, уже мягче, другим голосом, так, будто предыдущего разговора не было:

— А Оля-то сама хорошая, ты не думай. Она мне сколько раз с огородом. — Пауза. — Просто это же несправедливо.

— Ага, — сказала Оксана.

Второй пришёл в десять и принёс справку.

Справка была о состоянии фундамента с печатью какой-то фирмы из Новокузнецка и подписью, и в ней стояло раскрытие трещин четыре с половиной миллиметра, и был приложен снимок, распечатанный на цветном принтере, — угол дома с линейкой, приставленной к штукатурке.

— Вот, — сказал мужик. — Я хочу, чтоб вы засвидетельствовали, что это мой дом.

— Я не могу свидетельствовать. Я не эксперт.

— А кто?

— Комиссия.

— Так в комиссии Шалагин с Кулешихой. — Он сказал это с тяжёлым, спокойным отвращением. — Они мне и засвидетельствуют.

Оксана посмотрела на фотографию.

Тень от линейки падала вправо, а тень от водосточной трубы на том же снимке — влево.

— Александр Петрович, — сказала она.

— Что.

— Идите домой.

Он забрал справку, аккуратно разгладил, положил в файл и в дверях сказал:

— Оксана Николаевна, я ж не ворую. Я ж просто чтоб по-честному.

К обеду просохло, и она пошла по Садовой.

Обход был по списку: четверо подучётных, из них трое условно-досрочных девяносто седьмого — девяносто девятого годов, давно спившихся и не представляющих ничего, кроме забот для неё самой, и Жорка Сизов.

У Жорки было тихо. Он колол дрова, увидел её от калитки, воткнул топор и вытер руки об штаны.

— Здравствуйте, Оксана Николаевна.

— Здравствуй, Жора. Как Люба?

— Хорошо Люба. — Он посмотрел в сторону. — Она в Киселёвск уехала, к сестре. На неделю.

— На неделю?

— Ну.

Оксана постояла у калитки.

— Пятнадцатого приду, — сказала она.

— Приходите.

Она пошла дальше и на углу оглянулась. Жорка стоял, где стоял, и смотрел ей вслед, и топор торчал в чурке.

Он второй год не пил, и второй год она ходила к нему каждые две недели, и второй год посёлок говорил про него одно и то же двумя способами: «Жорка-то, зверь, он же Любку чуть не убил» — и через две минуты, без всякого перехода: «Жорка-то мужик хороший, он мне крыльцо сделал».

Иногда это говорил один и тот же человек. Оксана давно перестала это замечать, как перестают замечать, что у соседа скрипит калитка.

В два часа позвонила Лидия Семёновна.

— Оксаночка, — сказала она в трубку тем голосом, каким объявляют номер, — там на гари опять лежат.

— Кто?

— Да мальчишки. Я с крыльца вижу, их трое, они за трубой, на тёплом. У меня бинокль Сашин.

— Сколько лежат?

— С обеда. Я в двенадцать смотрела — лежали, и сейчас лежат.

— Иду.

Она взяла в машину плед и термос — не из жалости, а потому что двоих ей одной не поднять, если они совсем никакие, — и поехала через мост.

За мостом стоял пар над водой, ровный, и на той стороне трава была зелёная.

Она оставила «шестёрку» у поворота и пошла пешком, и метров через двести под ногой стало мягко, и Оксана перешла на старую борозду, где всегда твёрдо.

Они лежали за отводной трубой, втроём, на склоне, головами вниз, как лежат на пляже.

Двоих она знала: Никитка Гнездилов, шестнадцать, и Санёк Тебеньков, пятнадцать. Третий был поменьше, лет тринадцати, в чужой куртке, и она вспомнила его не сразу — Хромов, с Заводской, у него мать в Прокопьевске работает вахтой.

Пахло от них ничем. Ни водкой, ни клеем. Просто спали.

Земля под ними была тёплая. Оксана присела и потрогала — тёплая, как батарея в сентябре, когда её только пустят, ещё не горячая, но уже живая.

— Никита. — Она потрясла старшего за плечо. — Никита. Вставай.

Он открыл глаза сразу, без перехода, как открывают в кино.

— Ага, — сказал он.

— Вставай, я говорю.

Он сел, посмотрел на неё совершенно ясными глазами и сказал:

— Я счас.

Тебеньков тоже сел и стал искать шапку, которая лежала у него под боком.

Младший, Хромов, поднялся последним. Он встал на четвереньки, потом на ноги, покачнулся, повернулся лицом к трубе — к пустому месту у трубы, где никого не было, — и сказал:

— Здравсьте.

Оксана посмотрела туда.

Труба. Ржавчина. Мёртвый лопух.

— Ты кому? — спросила она.

Хромов обернулся к ней, и у него было спокойное, ничего не выражающее лицо человека, который ещё не дошёл.

— Чего?

— Ты сейчас поздоровался.

— Не.

Он застегнул куртку не на те пуговицы и стал спускаться, и Оксана пошла за ними, и они втроём шли впереди, толкаясь и уже переговариваясь, как нормальные живые пацаны.

У машины Хромов остановился, посмотрел на Пулю, которая сидела на заднем сиденье и дышала в стекло, и сказал:

— А вы её под крыльцом ищите.

Оксана открыла дверцу и замерла.

— Кого?

— Ну её. — Он мотнул головой на собаку. — Она весной под крыльцо уйдёт. Они все туда уходят.

— Какое крыльцо?

Мальчишка посмотрел на неё.

— Я чё-то сказал? — спросил он.

Он спросил это без хитрости и без испуга — так спрашивают, когда действительно не знают, и хотят узнать, потому что это неприятно, когда тебе говорят, что ты что-то сказал, а ты не помнишь.

— Ничего, — сказала Оксана. — Садись.

Она развезла их по домам, отдала Хромова соседке, потому что мать на вахте, и с Гнездиловыми поговорила на крыльце, и мать Никитки сказала то, что говорили всегда:

— Да они ж не пьют! Они ж просто там спят, там тепло. У нас же дома холодно, батареи ж не дали.

— На гари газ.

— Так они ж на склоне, не у трещины.

— Валентина Петровна вам в прошлом году что говорила?

— Так то в прошлом году. — Женщина махнула рукой. — Оксан, ну а куда им деваться.

Не в недострой же.

Вечером, у магазина, она встретила Дёму.

«Ласточка» закрывалась в семь, и у крыльца под фонарём стояли, как всегда, человек шесть, и Дёма Ланцов стоял с краю с пакетом и курил.

— Здорово.

— Здорово, — сказала Оксана.

Он подвинулся, освобождая место у стены, куда не капало с козырька, и она встала.

— Слышь, — сказал Дёма. — А вот если человек пишет на другого человека заявление, а там враньё, ему чего?

— Смотря что написал.

— Ну что не живут по прописке.

— Ничего ему.

— Ничего, — повторил Дёма и затаился. — Ясно.

Он помолчал.

— Витька Шалагин это, — сказал он. — Тёщу подписал, а сам. Он же с шестого класса такой. Он в шестом классе на меня учительнице сказал, что я стекло разбил, а разбил он.

— Витька, — сказала Оксана.

— Чего Витька. Он же гнида, Оксан. Он же всю жизнь гнида.

— Он тебя из речки тащил.

— Так то из речки. — Дёма сплюнул. — Это другое.

Он сказал «это другое» быстро и твёрдо, как захлопывают дверцу, и тут же заговорил про другое:

— Ты слышь, а эта, из института-то — она теперь с Птахиным ездит.

— С Романом Ильичом?

— Да с Маратом, — сказал Дёма, и рядом у стены кто-то коротко хмыкнул. — Он её возит. Который день.

— У них машина не заводится.

— Ну, не заводится.

— Не заводится, Дёма. Я сама аккумулятор Кольке отдавала на зарядку.

— Ну так и я про что, — сказал Дёма невинно. — Я ж ничего не говорю.

Женщина в платке, стоявшая ближе всех, сказала в пространство, ни к кому:

— Она девочка-то хорошая. Она вежливая. Она к Гуковым заходила, чай пила.

— Хорошая, — согласился кто-то.

— Просто непонятно, за чей счёт она, — сказала женщина. — Вот и всё, что непонятно.

— Она зарплату получает, — сказала Оксана. — В институте.

— Ну, в институте.

Все помолчали, и разговор кончился сам собой, и Дёма затоптал бычок и сказал:

— Ну, я пошёл. Матери хлеб.

И пошёл.

Оксана постояла ещё немного у стены, слушая, как за спиной, у двери, продолжают уже без неё, вполголоса, и слов не разобрать, и интонация ровная, будничная — ровно та, какой обсуждают цену на комбикорм.

К матери она зашла в девятом часу.

ФАП был закрыт, и она вошла со двора, в двенадцатую, своим ключом, и в прихожей сразу поняла, что что-то не так, но сначала не поняла, что именно, — просто в квартире было по-другому.

Пахло.

Пахло стиркой: горячей мокрой тканью, хозяйственным мылом, крахмальным паром. И поверх — нашатырём. Нашатыря было столько, что щипало в носу с порога.

— Мам?

— Я тут, — отозвалась Валентина Петровна из ванной.

Она стояла над ванной в халате, в старом, в домашнем, красная, с прилипшими ко лбу волосами, и полоскала. В ванне лежало белое, много, и вода была мутная.

На стиральной машинке — на «Малютке», которой в этом доме было двадцать восемь лет и которая стояла в углу как памятник, — крутилось ещё одно, в пене.

— Ты чего это? — сказала Оксана.

— Стираю.

— Вижу, что стираешь. Ты халаты, что ли, стираешь?

— Халаты.

— Дома?

Валентина Петровна выпрямилась, отжала, бросила в таз и взялась за следующий.

— А чего такого, — сказала она. — Дома и постираю.

— Ты двадцать пять лет в ФАПе стирала.

— В ФАПе бак прогорел.

— Какой бак?

— Ну бак, в котором я кипятила. У него дно. — Валентина Петровна показала мокрой рукой куда-то в сторону, где предполагался ФАП. — Прогорел он, там дырка. Я Кольке отдала, он заварит.

— Когда отдала?

— Да недели две.

Оксана прислонилась плечом к косяку.

— Мам, я у тебя вчера была. Бак стоит.

— Так стоит. Он же с дыркой стоит, он же не ходит никуда. — Мать засмеялась, коротко и добродушно. — Ты чего пристала-то?

— Ничего.

— Ну и не приставай. — Она выжала, шлёпнула в таз. — И вообще, там же электричество. Я ж там плиткой грею, а плитка знаешь сколько мотает. Мне Нина Афанасьевна прямо сказала: Валентина Петровна, у вас по ФАПу перерасход.

— Она тебе такого не говорила.

— Ну, может, и не говорила.

— Мам.

— Да что ты, господи, — сказала Валентина Петровна без всякого раздражения, весело. — Ну хочу я дома. Ну вот хочу, чтоб они у меня дома были. Тебе-то что?

Оксана постояла.

Она понимала, что сейчас нужно спросить ещё раз, и понимала, что если спросить ещё раз, то мать даст четвёртое объяснение, и оно тоже будет полное, законченное и правдоподобное, и каждое из четырёх по отдельности можно будет принять.

Она не спросила.

Она прошла на кухню, поставила чайник, села и стала смотреть, как на подоконнике стоит алоэ в майонезной банке, — это алоэ было старше её самой и его пересаживали трижды.

Мать вышла минут через десять, вытирая руки, и села напротив, и сразу полезла в карман халата, достала пузырёк, вынула притёртую пробку и нюхнула — сначала одной ноздрей, потом другой.

— Ты чего его дома-то нюхаешь? — сказала Оксана.

— А?

— Ты его на работе нюхала. Ты мне сама говорила: чтоб различать.

Валентина Петровна посмотрела на пузырёк у себя в руке так, как смотрят на очки, которые искали на голове.

— Привычка, — сказала она и убрала в карман.

— Ты сколько их берёшь?

— Чего?

— Нашатыря. Ты сколько берёшь?

— Сколько положено. По накладной. — Мать налила себе чаю и придвинула Оксане сушки. — Ты кушай. Ты худая. Вон, вся в отца.

Они попили чаю.

Мать рассказала, что у Дудко Славик отказывается от еды третий день и что Тамара Анатольевна опять не спит; что у Гуковых в подвале датчик пищит, она ходила, батарейку они не меняют, надо к ним прийти вместе, официально, чтоб испугались; что Никитка Гнездилов — хороший мальчишка, и мать у него хорошая, а вот дед был пьяница и у него от того же и умер, от угара, в восемьдесят девятом.

— Мам, — сказала Оксана, — я их сегодня с гари снимала. Троих.

— Ну а куда им, — сказала Валентина Петровна. — У них дома холодно.

— Там газ.

— Там на склоне не газ, там сбоку идёт. — Мать поставила чашку. — Я сама там сколько раз сидела.

— Когда?

— Да когда пешком на Проходчиков зимой ходила. — Она пожала плечами. — Сядешь на минутку, посидишь. Тёплое ведь.

Она сказала это буднично, и Оксана представила себе, как её мать, пятидесятилетняя, с сумкой, в темноте, в мороз, идёт через гарь и садится на тёплую землю посидеть, — и ей стало нехорошо так, что пришлось отвернуться к окну.

— Ты там не сиди, — сказала она.

— Ну не буду, — сказала мать.

Оксана ушла в начале одиннадцатого.

Она вышла в подъезд, спустилась, толкнула дверь и оказалась на улице, и в лицо ударило холодом: за вечер подморозило, лужи взялись и хрустели.

Она дошла до угла дома и остановилась закурить, хотя курила раз в месяц, и стояла, сунув сигарету в угол рта и щёлкая зажигалкой, которая не хотела на ветру.

И, пока щёлкала, подняла глаза на балкон.

Балкон был на первом этаже, застеклённый до половины, и в нём горела лампочка, и на верёвке, натянутой поперёк, висели халаты.

Они висели вверх ногами, прицепленные за подол, чтобы стекало, — и от мороза уже прихватились и стояли ровные, плоские, белые, с растопыренными пустыми рукавами, и лампочка просвечивала их насквозь.

Оксана сосчитала.

Пять.

Она стояла у угла с незажжённой сигаретой и смотрела на них, и они не шевелились, потому что были твёрдые.

Халатов у матери было четыре.

Она это знала так же твёрдо, как знала её лицо: два рабочих, один парадный, с голубым кантом, для комиссий и для похорон, и один совсем ветхий, который мать не выбрасывала и в котором мыла полы. Четыре. Она их гладила. Она их складывала в тот шкаф с восьми лет.

Пятый висел с краю, ближе к стене, и был длиннее остальных, и рукава у него были длиннее, и он был подпоясан — на нём, на замёрзшем, был завязан пояс, узлом, аккуратно, спереди.

В окне кухни двинулась тень, и лампочка на балконе погасла.

Оксана постояла ещё немного в темноте, потом убрала сигарету обратно в пачку и пошла домой.

Пуля шла рядом, припадая на левый зад, и на углу Гвардейской села и не пошла дальше, и Оксана вернулась, взяла её на руки — тридцать два килограмма — и донесла до подъезда, и собака всю дорогу смотрела назад, через её плечо.

Глава восьмая

ГВАРДЕЙСКАЯ

Скважина номер восемь стояла у торца дома двадцать девять по Гвардейской, между двумя тополями, в том месте, где кончался асфальт и начиналась вытоптанная земля.

Ася пришла к ней в половине одиннадцатого утра четырнадцатого октября.

Земля была схвачена сверху на палец, и под каблуком хрустело, а ниже было мягко. Ночью снова примораживало, днём отпускало, и так уже неделю, и от этого всё вокруг было в мелких лужицах со стеклянной коркой, и корка ломалась с тем самым звуком, из-за которого дети никогда не обходят лужи.

Она отперла крышку — цепочка примёрзла, пришлось отдирать, — опустила термопару и села на корточках.

Марат остался у машины. Он всегда оставался у машины, метрах в тридцати, не ближе и не дальше, стоял, прислонившись к крылу, курил и смотрел куда-нибудь в сторону склона. За три недели он не подошёл к скважине ни разу.

— Тридцать один и шесть, — сказала Ася вслух.

Она сказала это не ему. Диктофон лежал у неё в нагрудном кармане куртки, в том, что с клапаном, микрофоном вверх, и работал.

Она вытащила термопару, смотала провод в восьмёрку, достала газоанализатор — тяжёлый, как утюг, в резиновом чехле, с ремнём через плечо, — и опустила пробоотборник.

Насос затикал.

Тикал он две минуты, и всё это время Ася сидела на корточках и смотрела на дом.

Пятиэтажка семьдесят первого года, панель, четыре подъезда. Швы между панелями промазаны чем-то, что давно вылезло колбасками и растрескалось. Над третьим подъездом на уровне второго этажа шла трещина — старая, замазанная, поверх замазки снова разошедшаяся, но не растущая: маяк из гипса, который она сама поставила третьего июля, был цел, и на нём стояла её дата карандашом.

На четвёртом этаже, во втором подъезде, окно было заклеено на зиму, и между рам лежала вата, и на вате — ёлочные шарики, три штуки, красный, синий и облезлый золотой.

Прибор пискнул.

Ася посмотрела на шкалу, потом на бумажку, где у неё был переводной коэффициент, потому что прибор показывал в миллиграммах на кубометр, а критерий был в процентах, и она каждый раз считала на полях, не доверяя себе.

— Скважина восемь, — сказала она в карман. — Температура на забое тридцать один и шесть. Окись углерода ноль целых ноль ноль двадцать один.

Она записала карандашом в полевой журнал: 31,6 / 0,0021.

Порог был ноль целых ноль ноль двадцать четыре.

Она посидела ещё немного на корточках, глядя на цифру, потом закрыла журнал резинкой и пошла к машине.

— Всё? — спросил Марат.

— Мне тут ещё в дом надо. В подвал.

— Ну иди.

— Это долго может.

Он пожал плечами и полез в кабину за термосом.

Она соврала про подвал.

То есть не совсем соврала: в подвал ей действительно было надо, и она туда потом зашла, и там у неё ушло восемь минут. Но сначала она поднялась на четвёртый этаж второго подъезда и позвонила в двадцать шестую квартиру, и позвонить туда её никто не просил, и в плане работ на четырнадцатое октября этого не было.

В подъезде пахло кошками, сыростью и жареной картошкой.

На площадке между вторым и третьим этажом лежал кусок линолеума, прибитый к бетону гвоздями с шайбами, — так закрывают выбоину, — и по нему наискось шла чёрная резиновая полоса, натёртая, широкая, как след от санок.

Тамара Анатольевна открыла сразу, будто стояла за дверью.

— Ой, — сказала она. — Анастасия Юрьевна.

— Здравствуйте. Я тут с приборами, я подумала...

— Заходите, заходите. Вы не разувайтесь, у меня холодно.

В квартире было натоплено и всё равно холодно — тем особым холодом, который идёт от стен, а не от воздуха. Пахло лекарствами, кипячёной тканью и ещё чем-то, что Ася узнала не носом, а чем-то ниже носа, и от чего у неё сразу стало плоско в животе.

Славик лежал в комнате, на кровати у окна.

Ему было двадцать. Он был длинный и очень худой, с подобранными к груди руками, и голова у него была повёрнута набок и вверх, к потолку, и не выпрямлялась. Он дышал часто и неглубоко, и на каждом вдохе у него в горле было слышно.

— Славочка, у нас гости, — сказала Тамара Анатольевна громко и весело. — Это Анастасия Юрьевна, она учёная, она приехала нас мерить.

Славик перевёл глаза.

Он перевёл их медленно, сначала мимо Аси, потом на неё, и остановился, и смотрел, и Ася поняла, что он смотрит именно на неё, а не в её сторону.

— Здравствуйте, — сказала она.

Он моргнул.

— Он вас видит, — сказала Тамара Анатольевна. — Вы не думайте. Он всё видит и всё понимает, он просто сказать не может. Он телевизор смотрит, у него передачи любимые есть. Правда, Слав?

Славик моргнул ещё раз.

Ася поставила сумку на пол.

— Тамара Анатольевна, я хотела в подвале померить, под вашим подъездом. И вот тут, если можно, у стены.

— Меряйте, конечно.

Она померила у стены — сухо, скучно, ничего. Померила у окна. Померила в санузле, где было теплее всего и где на верёвке над ванной висели пелёнки, огромные, взрослые, застиранные до голубизны, восемнадцать штук.

Всё время, пока она мерила, Тамара Анатольевна ходила за ней и говорила.

Она говорила легко, без жалобы, тем ровным дежурным голосом, каким рассказывают то, что рассказывали уже двести раз.

— Мы на четвёртом. Нас сюда в семьдесят восьмом поселили, я тогда молодая была, четвёртый этаж — да я через две ступеньки бегала. А потом Славик родился, и вот. — Она поправила что-то на подоконнике. — Коляска у нас есть, хорошая, немецкая, по программе дали в две тысячи шестом. Она в подъезде стоит, на площадке, соседи разрешают.

— А как вы его...

— Так на себе. — Тамара Анатольевна сказала это без всякого выражения. — Сажаю на спину и вниз. Он лёгкий, в нём пятьдесят два.

— Вы сами? По лестнице?

— Ну а кто. — Она засмеялась. — Раньше Гена помогал, сосед тут ходит, безработный, он крепкий. Он хороший, он всегда помогал. Только он сам падает, у него припадки, я боюсь, что он с ним упадёт. Один раз чуть не упал. С тех пор я сама.

— И часто вы?

Тамара Анатольевна помолчала.

— В марте последний раз выносила, — сказала она. — В марте, на солнышко. Сейчас уже холодно, сейчас куда.

Ася записала в журнал цифры, которых не надо было записывать, и стала складывать провод.

— А вы бы, — сказала Тамара Анатольевна вдруг, — вы бы к Шалагиным сходили. На Проходчиков.

— Зачем?

— Да так. — Она поджала губы. — Они справки возят из Новокузнецка. У них дом как дом, а справок целая папка. И Витька в комиссии сидит. Он сам себе и обследует.

— Это не ко мне.

— Я понимаю, что не к вам, — быстро сказала Тамара Анатольевна. — Я так. Я не жалуюсь.

Она проводила Асю в прихожую.

В прихожей, на гвозде у двери, висела на верёвочке эмалированная кружка, и Ася зачем-то на неё посмотрела.

— Вы чаю не будете? — спросила Тамара Анатольевна.

— Мне идти, меня ждут.

— Ну идите.

И тут она взяла Асины руки — обе, в свои, — и подержала.

Руки у неё были горячие, сухие и очень сильные, с твёрдыми подушечками, как у человека, который много лет что-то поднимает.

— Вы не думайте, — сказала Тамара Анатольевна. — Я ничего не прошу.

— Я знаю.

— Я никогда никого не просила и не буду. — Она отпустила и открыла дверь. — Идите, а то вас ждут.

В подвале Ася пробыла восемь минут.

Там было темно, тепло и сыро, и под потолком шли трубы в лохмотьях изоляции, и с труб капало в подставленные кем-то тазы. На стене у входа висел сигнализатор СО — белая коробочка с решёткой, с наклейкой «2006 г.», — и когда Ася посветила на него фонарём, стало видно, что индикатор не горит вообще, ни зелёным, ни красным.

Она открыла крышечку ногтем. Внутри батарейного отсека было бело и мохнато.

Прибор показал у пола в дальнем углу, у ввода теплотрассы, двадцать восемь миллиграммов на кубометр.

Это было не опасно. Это было близко к двадцати, при которых полагается проветривать. Это было вообще ни то ни сё, и в критерии, к которому она была приставлена, подвалы не входили: критерий считался по подпочвенному воздуху из скважины, а не по подвалу.

Ася записала цифру в журнал, потому что записывала всё.

Потом вылезла, отряхнула колени и пошла к машине.

— Долго, — сказал Марат.

— Я же говорила.

Он посмотрел на неё дольше, чем обычно, — секунды три, — потом отвернулся и завёл.

— Куда?

— В контору. Мне журнал сдавать.

Журнал она в тот день не сдала.

В конторе, в кабинете у Нины Афанасьевны, где стоял единственный в посёлке исправный компьютер, была очередь из трёх человек и не было бланков, и Нина Афанасьевна сказала прийти завтра к девяти.

Ася вышла, постояла на крыльце и почувствовала облегчение — короткое, острое и настолько отчётливое, что ей стало стыдно раньше, чем она поняла, чему обрадовалась.

Вечером она сидела в своей комнате в профилактории с чаем и с журналом, под лампочкой без абажура, и обводила.

Это была обычная работа: в поле пишешь карандашом, вечером обводишь ручкой, потому что карандаш к весне стирается о страницу сам собой, от трения. Она обводила уже четвёртый месяц, и у неё выработался порядок — сверху вниз, по столбцам, сначала номера, потом температуры, потом газ.

Дошла до восьмой.

31,6 — обвела.

0,0021 — остановилась.

Она посидела, держа ручку на весу.

Потом достала из сумки паспорт прибора — тонкая книжечка в мягкой обложке, с гербом и с таблицами, — и открыла на странице «Метрологические характеристики», которую знала наизусть.

Предел допускаемой основной относительной погрешности — плюс-минус двадцать пять процентов.

Двадцать пять процентов от ноль целых ноль ноль двадцати одной — это ноль целых ноль ноль пять. Значит, истинное значение лежит где-то между ноль ноль шестнадцатью и ноль ноль двадцатью шестью.

Порог — ноль ноль двадцать четыре.

Порог лежал внутри погрешности.

Это было так. Это было абсолютно так, и это можно было написать в служебной записке, и она даже начала мысленно её составлять: «учитывая, что нормируемое значение находится в пределах доверительного интервала измерения, считаю необходимым выполнить контрольные замеры...»

Контрольные замеры — это заявка, это буровики, это два месяца и подпись главного инженера института. К декабрю. К декабрю списки утвердят.

Ася встала, походила по комнате — четыре шага туда, четыре обратно, — подошла к окну и подышала на стекло.

За стеклом был отвал. На отвале ничего не было.

Она села, взяла ластик — мягкий, белый, «Архитектор», из института, — и стёрла карандашную единицу.

Бумага под ластиком поднялась ворсом. Ася потрогала это место ногтем: оно было шершавое, чуть светлее остальной страницы, и если наклонить лист к лампе, было видно.

Она обмакнула ручку и написала: 0,0026.

Чернила на потёртом месте расплылись немножко, волосками.

Она подула, закрыла журнал, положила сверху ладонь и посидела так, наверное, минуту, слушая, как за стеной баба Надя смотрит новости и как в трубе шумит.

Потом сказала вслух, в комнату:

— Это в пределах погрешности.

И это была правда.

Диктофон лежал на столе рядом.

Она взяла его, отмотала назад — она примерно знала, где: по счётчику, между сто девяносто и двумястами, — и нажала воспроизведение, чтобы найти место.

«...Скважина восемь. Температура на забое тридцать один и шесть. Окись углерода ноль целых ноль ноль двадцать один сотых процента».

Свой собственный голос, медленный, спокойный, рабочий.

Ася нажала «стоп».

Она подумала, что вообще-то это неважно. Кассета — её личная. Кассету никто никогда не слушает, кассета — это чтоб не забыть и чтоб потом сверить, она сама так завела на практике, и никакой инструкцией это не предусмотрено. Никто и не узнает.

Потом она подумала, что если не сойдётся с журналом, то будет хуже.

Она отмотала назад ещё немного, нашла паузу перед «скважина восемь», поставила на запись и сказала — ровно, тем же самым рабочим голосом, стараясь попасть в тот же темп:

— Скважина восемь. Температура на забое тридцать один и шесть. Окись углерода ноль целых ноль ноль двадцать шесть .

Отпустила кнопку. Отмотала. Нажала воспроизведение.

Пошёл шум ленты, и под шумом — низкий ровный гул, который был на этой кассете всегда, с самого начала, с того ларька у автовокзала.

Потом её голос сказал:

«Скважина восемь. Температура на забое тридцать один и шесть. Окись углерода ноль целых ноль ноль двадцать шесть ».

Ася выдохнула.

И только через секунду, уже нажимая «стоп», поняла, что слышала не только это.

Она отмотала и послушала ещё раз, прибавив громкость до упора и приложив диктофон к уху, так что динамик щекотал ушную раковину.

Гул. Шум. И на самом дне, тише всего, за полсекунды до её нового голоса:

«...двадцать один сотых процента».

Не после. Раньше.

Ася отняла диктофон от уха.

Она знала, что это. Она это уже слышала — в июле, на кассете из того же пакета, где сквозь её замеры всю дорогу пробивалась какая-то эстрада, и в августе, когда под её голосом шёл чей-то кашель. Кассеты были б/у, по десять рублей, стирающая головка в дешёвом диктофоне не стирает подчистую, остаточная намагниченность, батарейки на исходе, скорость плавает. Всё это она знала.

Плавает скорость — вот и уехало вперёд.

Она проговорила это себе целиком, вслух, до конца, и на слове «вперёд» у неё пересохло во рту.

Ася положила диктофон на стол кнопками вниз, встала и пошла ставить чайник.

На полях журнала, против восьмой скважины, она в тот вечер ничего не пометила. Она вообще больше не открывала журнал до утра.

Утром, в пять минут десятого, в конторе, Нина Афанасьевна взяла у неё журнал, перекачала цифры в ведомость, дала расписаться в двух местах и отдала обратно.

Всё заняло двенадцать минут.

В середине этих двенадцати минут Ася вышла в коридор, потому что туалет в конторе был один и в другом конце здания, и её не было минут семь, может, восемь.

Когда она вернулась, журнал лежал на том же месте, на краю стола, слева от клавиатуры.

Он был закрыт.

Она оставляла его открытым — на той странице, с которой Нина Афанасьевна переписывала, придавив по привычке резинкой, чтоб не захлопнулся.

Резинка лежала рядом.

— Я закрыла, — сказала Нина Афанасьевна, не поднимая глаз от монитора. — Я уже всё переписала.

— А, — сказала Ася. — Спасибо.

В коридоре она столкнулась с Витькой Шалагиным.

Он выходил от Птахина, и вид у него был хороший, и он посторонился в дверях, пропуская её, и сказал:

— Здравствуйте, Анастасия Юрьевна.

— Здравствуйте.

— Вы к нам-то когда придёте? — Он улыбался. — Вы на Проходчиков мерили, а у нас-то вы под домом не были.

— У вас скважина в двенадцати метрах. Тридцать первая.

— Так то в двенадцати. А у нас под домом.

— Под домом никто не мерит, там фундамент.

— Ну, вам виднее, — сказал Витька и пошёл.

Он прошёл три шага и обернулся.

— Вы по Гвардейской-то доделали? — спросил он.

— Что?

— Ну, у вас же по Гвардейской восьмая скважина. Доделали?

— Я вчера мерила, — сказала Ася.

— Ага, — сказал Витька. — Ну и хорошо.

И ушёл.

Она простояла в коридоре секунд десять.

Потом сказала себе, что скважина номер восемь стоит на открытом месте у торца дома, что номер написан краской на трубе, что вчера она сидела над ней двадцать минут при свете дня и что мимо за эти двадцать минут прошло человек пятнадцать.

Это было полное, законченное и абсолютно правдоподобное объяснение.

Домой она шла в седьмом часу, уже в темноте.

Подморозило крепче вчерашнего, и грязь на Гвардейской встала гребнями, и идти надо было по кромке, вдоль бордюра, где ровно.

У третьей пятиэтажки, у торца с отдельным входом и железным козырьком, горело одно окно, низкое, и оно было приоткрыто на форточку, несмотря на минус.

Ася прошла под ним, и её окликнули.

— Анастасия Юрьевна.

Она остановилась.

В форточке, в жёлтом прямоугольнике, было лицо — фельдшерица, Валентина Петровна, в белом, и за ней, в глубине, стеклянный шкаф с ампулами.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, доченька. Вы чего в такой холод без шапки?

— Я забыла.

— Ну-ну. — Валентина Петровна оперлась локтями на подоконник изнутри и стала видна по грудь. — А я смотрю — идёт кто-то и по краешку, по краешку. Я и думаю: приезжая. Наши-то посередине ходят.

Ася засмеялась.

— Вы заходите как-нибудь, — сказала Валентина Петровна. — Я вам горло посмотрю, у вас голос сиплый. Тут у всех сиплый, тут воздух такой. Привыкнете — пройдёт.

— Спасибо. Я зайду.

— Заходите.

Ася кивнула и пошла.

Она сделала шагов пять, и в спину, из форточки, спокойно и негромко, как говорят вслед, чтоб не кричать, Валентина Петровна сказала:

— Ты Тамаре-то хорошее сделала.

Ася остановилась.

Она постояла спиной, потом обернулась.

Валентина Петровна всё так же стояла в форточке, опираясь на подоконник, и лицо у неё было доброе, круглое, уставшее и совершенно обыкновенное.

— Я просто померила, — сказала Ася.

— Ну да, — сказала Валентина Петровна. — Померила.

Форточка закрылась, и в окне осталась только белая спина и стеклянный шкаф.

Ася дошла до угла и остановилась под фонарём, который просел и поднялся, и стала считать.

К Дудко она заходила вчера, во вторник, в одиннадцать утра. Тамаре Анатольевне она не сказала ни одного слова про цифры — ни про восьмью скважину, ни про порог, ни про погрешность, ничего; она вообще ни разу не произнесла при ней ни числа. Журнал вчера вечером был у неё в комнате, в профилактории, на столе, под ладонью. Сегодня в девять его переписали в ведомость, и ведомость ушла в папку комиссии, которая соберётся семнадцатого.

И никто, ни один человек в Гривцах, ещё не мог знать, что между вчерашним карандашом и сегодняшними чернилами в ноль целых ноль ноль двадцать первой сотых что-то переменялось.

Ася пошла дальше, и у неё сильно стучало под горлом, и ей было холодно без шапки, и на языке стоял вкус, как от батарейки.

«Она про Славика, — подумала Ася. — Она про то, что я к ним зашла. Человек зашёл к лежачему, посидел, поговорил — это и есть хорошее».

Мысль была полная, законченная и абсолютно правдоподобная.

Ася дошла с ней до самого профилактория и, уже поднимаясь по ступенькам, поняла, что не может вспомнить, говорила ли она хоть кому-нибудь, что вообще была у Дудко.

Глава девятая

ПО ЧЕТВЕРГАМ

Двадцать первого октября Богуш въехал в распадок в двадцать минут девятого и на спуске, по привычке, опустил стекло.

В машину вошёл холод и мокрый уголь.

Он подождал. Потянул носом ещё раз, подержал, выдохнул.

Ничего.

То есть всё на месте: дым из труб, солярка, сырой отвал, — и то, сернистое, тоже было где-то там, он знал, что оно там, как знаешь, что за стеной сосед. Просто оно перестало быть отдельным. Оно стало частью того, как здесь пахнет вообще.

Богуш поднял стекло и поехал вниз, и на предпоследнем повороте поймал себя на том, что ищет глазами гипсового горняка у ДК, как ищут ориентир в городе, где жил.

Сначала он поехал на Садовую.

Дом Ковригина стоял четырнадцатым от угла, нетопленный, с занавесками. Калитка была не заперта, и дверь в сени была не заперта, и Богуш постоял на крыльце, потом постучал в стекло и толкнул.

В доме было плюс четыре и пахло мышами.

Мебель стояла на местах. На столе лежала клеёнка, а на клеёнке — стопка тарелок, вымытых и составленных, и поверх тарелок бумажка, придавленная солонкой: «Валере. Кастрюлю большую взяла Зинаида Павловна, вернёт. Ковёр у нас на сохранении. Т.».

У нас двери не запирают.

Богуш положил бумажку обратно, вышел и поехал в администрацию.

Валерка Ковригин был в Киселёвске и приезжал раз в месяц. Уведомление ему уже отправили почтой, а копия постановления лежала у Богуша в папке, и вручать её было некому, и, значит, надо было писать в материал справку об этом, и, значит, эту справку должен был кто-то подписать.

Кроме справки требовалась вторая: о принятых мерах по ограждению провала, за подписью главы поселения.

Глава принимал по четвергам.

В коридоре администрации сидели одиннадцать человек.

Коридор был узкий, с крашенными в две краски стенами — низ зелёный, верх белый, — и вдоль стены стояли две скамьи из ДК, из того же гарнитура, что и кресла в зале, только без откидных сидений. Над дверью кабинета висели часы, и часы шли.

Богуш вошёл, поздоровался в пространство, ему ответили шестеро, и он сел с краю.

Первое, что он отметил, — как они сидят.

Одиннадцать человек на двух скамьях, рассчитанных на четырнадцать. Между каждым и каждым — пустое место. Не случайно, а ровно, с одинаковым интервалом, как расставляют стулья на экзамене.

Второе — о чём они говорили.

Они говорили о комбикорме. Потом о том, что у Никитиных телёнок. Потом о том, что на трассе ГАИ поставили новый пост и что теперь в Прокопьевск надо трезвым. Никто ни разу не спросил соседа, зачем тот пришёл, и никто ни разу не сказал, зачем пришёл сам.

Третье он отметил, но не стал додумывать: у самой дальней стены, на конце второй скамьи, сидел человек в ватнике.

Он сидел там, когда Богуш вошёл, и с ним никто не заговорил, и он ни с кем.

Дверь кабинета была обита дерматином, и дерматин глушил слова, но не голоса.

Богуш слушал полтора часа и за полтора часа не разобрал ни одной фразы целиком, а разобрал ритм.

Ритм был такой: сначала быстро и громко — это заходящий, он говорит своё, он готовился, он перебивает сам себя. Потом пауза. Потом низкое, ровное, короткими кусками, с паузами между кусками, — это хозяин кабинета. Потом опять быстро, но уже тише. Потом опять низкое, и после низкого всегда наступала тишина секунд на пять.

И потом человек выходил.

Выходили все одинаково. Открывали дверь, прикрывали за собой аккуратно, делали три шага по коридору и на третьем шаге поднимали лицо, и лицо у всех было одно и то же — не радостное и не расстроенное, а собранное, как после врача, когда результат ещё надо осмыслить дома.

И ни один из вышедших не сказал ни слова сидящим.

В половине одиннадцатого по коридору прошла девушка.

Она шла не в очередь, а мимо, к другой двери, в конце, — с брезентовой сумкой на плече и с папкой, прижатой локтем, простоволосая, в синей куртке, и, проходя, сказала «здравствуйте» громко и всем сразу, как говорят в кабинете, а не в коридоре.

Ей ответили.

Ответили нормально: две женщины кивнули, один старик сказал «здравствуй, дочка», кто-то подвинул ногу, чтоб не задела.

И через секунду после того, как она прошла и скрылась за той дверью, в коридоре стало на четверть тише.

Разговор про телёнка не прекратился — он просел, как проседает лампочка, и пошёл дальше, и через полминуты шёл уже на прежней громкости. Богуш не смог бы объяснить, что именно изменилось; он просто почувствовал это спиной и затылком, как чувствуешь сквозняк.

Рядом с ним женщина лет пятидесяти сказала соседке:

— Хорошая девочка. Обходительная.

— Обходительная, — согласилась соседка.

— Она у Симаковых в подполе мерила, так она сапоги сняла. В подпол! В носках полезла, чтоб не натоптать.

— Ну.

Пауза.

— А работа у неё, конечно, — сказала первая.

— Работа, — сказала вторая.

И обе замолчали, и одна стала поправлять платок, а другая посмотрела на часы над дверью.

Богуша приняли в двенадцать сорок, вне очереди.

Он зашёл после старика с папкой, и старик, выходя, придержал ему дверь и сказал: «Проходите, вы ж по службе».

Кабинет был небольшой: сейф, шкаф с папками, стол буквой Т, графин, три стула, на стене — план посёлка под стеклом, выцветший, с приколотыми кнопками бумажками. На подоконнике — герань и радиотелефон на базе.

Птахин встал, подал руку и сел.

— Игнат Петрович.

— Роман Ильич.

Руку он пожал крепко и коротко и на Богуша посмотрел ровно столько, сколько нужно, чтобы узнать, — и отвёл глаза на графин.

— Слушаю вас.

Богуш объяснил про две справки. Птахин слушал, глядя на графин, потом на телефон, потом опять на графин.

— Сделаем, — сказал он. — Нина Афанасьевна к вечеру отпечатает.

— Мне бы сегодня.

— К вечеру и будет сегодня.

Он выдвинул ящик, достал бланк, повертел, посмотрел на верхний угол и произнёс вслух, негромко, себе:

— Сорок седьмой.

Потом расписался.

Богуш это заметил. Он заметил, что человек назвал номер исходящего раньше, чем поставил подпись, и что назвал его не для кого-то, а для себя, и что на секунду, произнося цифру, он смотрел прямо на бумагу, а не мимо. Богуш отложил это, как откладывают форму лица: может пригодиться.

— По Ковригину, значит, отказ, — сказал Птахин.

— Отказ.

— Ну и правильно. — Птахин повернулся вполоборота к плану под стеклом. — Что тут расследовать. Земля.

— Формально да.

— А неформально? — спросил Птахин, не оборачиваясь.

— Неформально у него сорок четыре процента карбоксигемоглобина.

Птахин помолчал.

— Долго, — сказал он.

— Долго.

— Он глухой был на левое ухо, — сказал Птахин плану под стеклом. — С восемьдесят девятого, у него в лаве рядом рвануло. Так что, может, он и не понимал, что кричит в одну сторону.

Он сказал это тем же ровным административным голосом, каким говорил про исходящий номер, и Богуш вдруг очень отчётливо увидел, что этот человек про Ковригина Петра Ильича знает всё: и про ухо, и про год, и, вероятно, про то, сколько тот брал за поправленный забор.

— Вы всех помните? — спросил Богуш.

— Я тут с пятьдесят девятого, — сказал Птахин. — Кого ж мне ещё помнить.

Он придвинул к себе следующий бланк.

— Вы вот что. Вы ограждение съездите посмотрите сами, прежде чем справку брать. А то я вам напишу, что обваловано, а вы потом с этой справкой... — Он поискал слово. — Не по-человечески получится.

— А обваловано?

— Обваловано, — сказал Птахин. — Колючка в два ряда и табличка. Обваловать землёй нечем, у нас бульдозера нет с две тысячи четвёртого года. Но написать я могу «приняты меры», и это будет правда, потому что меры приняты.

Он поднял глаза и посмотрел на Богуша — три секунды, не больше, — и отвёл на графин.

— Я вам по-человечески говорю, — сказал он. — Чтоб вы понимали, что подшиваете.

Богуш вышел, сел на прежнее место и стал ждать Нину Афанасьевну.

Дверь за ним не закрылась до конца.

Она была тяжёлая, на пружине, и пружина её доводила, но в последний сантиметр дерматиновая обивка цеплялась за косяк, и дверь замирала. Он обернулся, чтобы прикрыть, и в эту секунду мимо него в кабинет прошла женщина — не глядя, боком, с сумкой, — и дверь осталась как была.

Богуш сидел в метре от щели.

— ...Ильич, я не жаловаться, — говорила женщина. Голос был высокий и сразу торопливый. — Я просто чтоб вы знали. Мы люди простые, мы не понимаем, а вы человек грамотный.

— Слушаю.

— Вот эта, институтская. Она у нас в подполе была, замерила — и ничего. А у Симаковых замерила — и они в зоне. А у Симаковых зять на разрезе в снабжении.

Пауза.

— Я не говорю, что она берёт, — сказала женщина быстро. — Я не говорю. Мне люди сказали, а я вам передаю, потому что вы должны знать, кто у нас тут ходит с приборами.

Птахин что-то сказал — низко, коротко, Богуш не разобрал.

— Так а как она тогда?! — Голос поднялся. — Как она тогда линию эту провела, что у нас по улице, а у них по огородам?

Снова низкое.

И потом Богуш услышал целиком, потому что мужчина в кабинете повысил голос ровно настолько, чтобы его было слышно у двери:

— Я в её работу не лезу. Она из института.

Тишина.

— Ну, — сказала женщина через несколько секунд, уже медленнее. — Из института.

— Из института, — повторил Птахин. — У неё своё начальство, у неё методика, у неё приборы поверенные. Ко мне она отношения не имеет. Я её не нанимал и снять не могу.

— А кто может?

— Я такими вещами не занимаюсь, — сказал Птахин.

Стул скрипнул.

Богуш встал, шагнул к двери и прикрыл её плечом, как прикрывают чужую дверь, чтоб не дуло, — не вслушиваясь, а наоборот, прекращая слышать.

Он сел обратно и вынул блокнот, потому что вспомнил, что до сих пор не заказал справку о метеоусловиях за девятое-одиннадцатое августа, а без неё третий пункт указания закрыт не будет, и надо звонить в Кемерово, а звонить отсюда неоткуда, значит — из района, значит, завтра.

Он записал: «метео 09-11.08, ЦГМС, звонок 22.10».

И подчеркнул.

За фразой, только что услышанной, он ничего не записал, потому что там нечего было записывать. Человек, которому пожаловались, отказался обсуждать чужую работу. Это была корректная, законная и, по совести говоря, единственно правильная позиция должностного лица.

Он даже подумал — очень коротко, без всякого веса, — что формулировка неудачная: «я такими вещами не занимаюсь» звучит так, будто кто-то другой занимается. Подумал и отпустил, потому что человек говорил уставшим языком в конце четвёртого часа приёма, и ловить его на языке было бы дешёвкой.

К ограждению он съездил в три.

Колючка стояла. Табличка висела. Одного штыря не было — вырвали вместе с бетонной пробкой, и проволока в этом месте провисла до земли, и через неё была натоптана тропа: не звериная, а человеческая, двумя следами, туда и обратно.

Богуш постоял и посчитал, сколько отсюда до крайнего дома.

Получилось двести десять, как и было в протоколе.

Он походил по краю. Яма за два месяца осела, стенки оплыли, на дне набралась вода и уже подмёрзла, и в лёд вмёрзли доска и полбаллона. Тепла от неё больше не шло.

Он присел на корточки и почему-то долго смотрел на эту застывшую воду, и в какой-то момент поймал себя на том, что считает — не предметы, а что-то другое: он считал вдохи. Свои.

Бoguш встал, отряхнул колени и пошёл к машине.

Нина Афанасьевна сказала прийти в семь, потому что принтер один и он в кабинете у главы, а в кабинете до шести приём.

Бoguш поужинал в ДК, у себя, — хлеб, килька, кипятильник, — и в семь вернулся, и справок не было, потому что Птахин ушёл в шесть и унёс ключ.

— Он вернётся в девять, — сказала Нина Афанасьевна, надевая пальто. — Он всегда возвращается. Вы подождите или утром зайдите.

— А он в девять чего?

— Работает, — сказала Нина Афанасьевна и посмотрела на него так, будто он спросил, зачем зимой топят.

В начале девятого Бoguш вышел пройтись, потому что в методкабинете было плюс шестнадцать и хотелось согреться ходьбой.

Он дошёл до конца Заводской, свернул на Садовую, вернулся дворами. Подмораживало. Лужи хрустели. Фонари просели, поднялись, просели.

На обратном пути он прошёл мимо дома главы — двухэтажный брусовой, второй от угла, крыльцо в три ступени, палисадник с крашеной шиной, — и в кухонном окне горел свет.

Занавеска была задёрнута на три четверти.

В оставшейся четверти был виден край стола под клеёнкой, лампа с абажуром, опущенная низко, и руки.

Птахин сидел боком к окну. На столе лежали бумаги — не стопкой, а разложенные внахлест, веером, страниц пятнадцать. Он вёл по строчкам ногтем указательного пальца, сверху вниз, и Бoguш через двойную раму слышал не звук, а видел движение: доходя до низа листа, палец останавливался и коротко щёлкал по бумаге, и Птахин подтягивал следующий лист.

Бoguш стоял у забора и смотрел.

Он простоял минуты три и за эти три минуты насчитал девять щелчков, и промежутки между ними были неравные — от двенадцати секунд до сорока.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.